
МИК ДЖЕКСОН
ПОДЗЕМНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Подземный человек

Мик Джексон

Аннотация
Мик Джексон. Подземный человек
Из Дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Из дневника Его Светлости
Примечание автора

Аннотация

Англия, конец XIX столетия. Общество считает пятого Герцога Портлендского сумасшедшим: мало кто может постичь смысл его безумных замыслов - например, строительства грандиозной сети тоннелей под его огромным таинственным поместьем. Дряхлое тело терзает боль, которой его деятельный ум вкупе с богатым воображением находит самые причудливые толкования. Но куда сильнее боль душевная - боль обрывочных воспоминаний и непонятных видений, которым невозможно найти рациональное объяснение. Боль, приводящая к сокрушительному финалу...

Роман "Подземный человек", готическая фантазия английского писателя Мика Джексона, в 1997 году вошел в короткий список Букеровской премии.

Мик Джексон
Подземный человек

Из Дневника Его Светлости

30 сентября

Не представляю, как работает яблоня. Мне никогда не постичь механизма, что таится под ее корой. Но, как обычно, Воображение уже стремится прикрыть брешь Неведения...

Корни дерева, как мне кажется, играют основную роль — каким-то образом извлекая из земли ее плодородие. Я вижу, как эти соки земли медленно поднимаются по стволу и закачиваются в каждую ветку.

Конечно, здесь замешаны и солнце с дождем, так или иначе, их тепло и влага необходимы для сооружения дерева. Но как объединяются солнце, Дождь и плодородие земли, чтобы произвести а) совершенный цветок, а потом б) маленький зародыш яблока — вот это остается для меня загадкой.

Найдите ближайшую яблоню. Ежедневно посещайте ее по ходу летних месяцев. Замечайте, как маленькая почка день за днем превращается в большое яблоко. Смотрите, как оно медленно

надувает щеки. Проходят недели, и, наконец, под собственной тяжестью плод принужден упасть. Вы находите его на земле — так и просится в рот. Весь этот процесс абсолютно предсказуем; у него есть начало, середина и конец. Но разве это что-нибудь объясняет? Только не мне. Я попросту сбит с толку. Множество вопросов остаются без ответа. Например... кто научил дерево трюку с яблоками? И... откуда берется фруктовый запах?

В моем поместье — один из самых больших садов во всей Англии. Мои «брэмли» и «шафранные пипины» выигрывают медали и серебряные кубки. Каждый год, когда лето подходит к концу, я прихожу посмотреть, как телеги отправляются в путь. Их колеса скрипят и шатаются под тяжестью корзин. Каждая заполнена до отказа. Иногда я стою у ворот в сад и смотрю, как телеги сонно катятся мимо. Рано ли поздно, на дорогу скатывается яблоко. Я подбираю его. Изучаю. И в который раз не понимаю, как оно возникло.

О, как чудесно быть яблоней — знать свое место в мире. Быть постоянным и в то же время плодовитым. Знать, для чего ты здесь.

Этим утром проснулся на рассвете, после утомительного ночного сна. Связался по переговорной

трубе с Клементом, чтобы тот захватил мешок кукурузы, и двадцать минут спустя мы оба уже шагали по Слосвикской Тропе — кормить оленя. День был, конечно, довольно ясный и свежий, но какой-то хрупкий, будто вылитый из стекла, и хотя небосвод был чист, я почувствовал в воздухе прохладу, которая тихо звенела со всех сторон, предупреждая, что осень не за горами. Переполнявшее меня дурное предчувствие стало, наконец, невыносимым, и я был вынужден оставить оленя на попечение Клемента.

В молодости я думал, что старость будет напоминать ощущения в конце долгого удачного дня: приятная усталость, что неизменно проходит наутро после хорошего сна. Но теперь я знаю, что стареть — значит постепенно обнаруживать, что твое тело — не более чем мешок неуемных болей. Старость — всего лишь плохая работа барахлящего механизма. Даже мой сон, прекрасное забвение, на которое я всегда полагался, желая восстановить силы, теперь, похоже, испортился, как будто сбился с шагу. Мои пальцы на руках и ногах холодны в любое время года, словно огонь во мне медленно угасает.

Решил пойти домой через Коровью Опушку, где заметил лениво порхающую сороку. Дважды

сплюнул, снял шляпу, сказал: «Доброе утро, Госпожа Сорока», затем огляделся — не видел ли кто моего маленького ритуала. Определенно с каждым годом я становлюсь все суевернее. В прежние времена я просто кинул бы в нее камнем. А теперь сжимаюсь, как испуганный ребенок.

Пройдя еще сотню ярдов по тропинке и обогнув Лошадиное Кладбище, я неожиданно наткнулся на огромную неопрятную ворону, которая сидела на полусгнившем пне, широко расставив лапки. Я заметил ее только за десять футов и замер как громом пораженный. Будто скорченный дьявол в черных лохмотьях, она взирала на меня с самым злобным видом. Я определенно почувствовал, как расслабляется сфинктер и яички ворочаются, в своем мешочке.

Ужасная ворона смотрела прямо на меня; взгляд ее, казалось, проникал сквозь череп. Мозг мой к тому времени лихорадочно посылал инструкции — повернуться и бежать, прочь от этой птицы, — но я обнаружил, что, словно заколдованный, не могу шевельнуть и пальцем. (Сейчас, сидя за столом, в халате и тапочках, я могу сколько угодно размышлять о том, как всего за минуту до той встречи вполне сносно управился с одной сорокой... знал, чем отвести ее заряд невезенья.

Но с вороной я ничего не мог поделать. От нее у меня совсем не было противоядия.)

Наткнувшись на нее, я был так поражен, что дух захватило. Разум стерли, как мел со школьной доски. И все же собственный мой голос шептал откуда-то издалека, настаивал, что, если я не постараюсь как можно скорее унести ноги, ворона может продержать меня в лесу до конца времен. Изо всех сил я старался придать моим ногам хоть немного живости и, наконец, обнаружил, что кровь еще плещется в старых венах. Медленно, дюйм за дюймом, я выдвигал ногу вперед, пока наконец не сделал маленький шажок; осторожно наступил и снова начал тот же бесконечный процесс. А проклятая птица все глядела на меня своим дурным глазом.

Но, сосредоточившись на мучительно медленном движении своих ног и делая все возможное, чтобы оградить себя от ее пагубного взгляда, я постепенно начал удаляться от нее, пока между нами не лег целый ярд... два ярда... наконец, три.

Я никогда не был особенно атлетичен (и даже будь я таковым, эти дни давно бы миновали), но, отойдя от вороны на дюжину шагов, я отчаянно припустил шаткой рысью. Обернулся я лишь однажды — убедиться, что пернатое чудовище меня

не преследует, — и в этот миг она прокричала ужасающее «кар-р!» с высоты своего трона. Затем захлопала маслянистыми крыльями, поднялась в воздух и, накренившись, скрылась за деревьями.

Нельзя сказать, что я хорошо разбираюсь в птицах и символическом значении каждой из них, но я ни минуты не сомневаюсь, что ворона, определенно, хотела мне зла. Она источала почти парализующую ненависть: уверен, любой на моем месте почувствовал бы то же. Такое простое и маленькое существо, но злоба ее наполняла весь лес.

Придя домой, я обнаружил, что миссис Пледжер поджарила мой любимый бекон и выглядела крайне обиженной, когда я не смог проглотить ни кусочка, но увы — меня хватило лишь на то, чтобы влить в себя чашку сладкого чая и доползти до своей комнаты. Неожиданная встреча с ужасной птицей глубоко потрясла меня, и к тому же я решил, что застудил голову. Когда любезный Клемент вернулся, я попросил его раскопать мою бобровую шапку и задать ей небольшую чистку — верный знак, что лету конец.

1 октября

Спал сладким сном до одиннадцати и проснул-

ся, когда Клемент разжигал камин. Почувствовал себя куда лучше вчерашнего, хотя мысли еще путались. Принял ванну, надел брюки из толстого твида и новехонькую куртку с поясом. Сунул ноги в мои верные коричневые ботинки и постарался призвать к порядку остатки волос.

Вот уже больше тридцати лет, как я начал лысеть; совсем еще молодым, вернувшись как-то с энергичной прогулки, я впервые обнаружил на подкладке охотничьей кепки гнездышко волос. С тех пор я расчесывал волосы гораздо реже (и гораздо осторожнее), в тщетной надежде замедлить пугающие перемены. Я боялся, что причина этого в моих прогулках и что из-за физической нагрузки у меня перегревается голова. Долгое время, надо признать, я не мог смотреть правде в глаза, то уговаривая себя, что всему виной воображение и я вовсе не лысею, то вдруг понимая, что через неделю моя голова будет напоминать колено и жить мне больше незачем.

Но мне, пожалуй, стоит быть благодарным за то, что из доброй сотни способов потерять волосы мне достался столь продолжительный. Все эти годы моя шевелюра постепенно, почти незаметно, отступала со лба, а медленно растущий кружок обнажал темя. Понадобилось два особым обра-

зом расположенных зеркала, чтобы с унынием наблюдать, как год за годом две эти прогалины

тянулись друг к другу. Со временем их соединила узкая тропинка, которая вскоре расползлась до настоящей розовой просеки, пока, наконец, на моем гладком черепе не осталось ничего, кроме редкого пушка.

До сих пор бывают дни, когда мне кажется, что все кончено и счет потерям закрыт. Но, взглянув поближе, я каждый раз вынужден признать, что на свет показался новый участок плоти и нагота все еще наступает. Но эта ноша вполне терпима. Дни моего тщеславия позади. Подобные пустяки меня больше не тревожат. Просто я теперь дольше умываю лицо, чем причесываюсь.

Те волосы, что еще держатся по бокам моей головы, белы, как шерсть ягненка. Они вьются вокруг ушей и беспорядочно висят сзади. Дабы не совсем уж походить на птицу с говорящим именем «лысуха», я давно отпустил бороду и усы — тоже седые, но куда более похожие на шерсть барана, и мне кажется, они восстанавливают столь необходимый баланс.

Пять минут, потраченные на бриолин и расческу, мало что изменили на моей голове. Я двадцать раз согнул колени, чтобы взбодриться, потом

подровнял усы и взглянул на себя в большое зеркало.

Меня часто называют жилистым человеком, что, видимо, следует понимать как «человек, соединенный при помощи жил», и это определение вполне справедливо. Больше ли во мне жил, чем в других людях, или мои просто доступнее взгляду — сложно сказать, но их работа видна на каждом изгибе моего тела, особенно — в руках, ногах и шее. Иду ли я, наклоняюсь или гримасничаю, видно, как они дергаются под кожей, будто натянутые бечевки.

Там, где моя шея сходится с торсом, бегут во все стороны вены и прожилки. Правда, в последнее время я потерял уверенность, что все эти жилы соединены как следует. Одни, похоже, совсем разболтались, другие и вовсе покинули насиженные места. Порой я начинаю бояться, что глубоко внутри лопнет какая-нибудь важная пружина, чтобы болтаться и дребезжать во мне до конца дней моих.

Не так давно я заметил, что в сырую погоду еще и скриплю — нет смысла отрицать, это слышно каждому, имеющему уши, — так что дождливые дни я провожу дома, у огня, за пасьянсом или в бильярдной. И все равно я думаю, что «жили-

стый» — подходящее слово, даже если жилы уже не так натянуты, как раньше.

5 октября

Этим утром, возвращаясь по Западной Аллее, посреди кровавого пиршества осени я встретил одного из своих егерей, ведущего исполинских размеров собаку. Ну и зверюга это была — лохматая, черная с проседью дворняга, чей хвост достигал двух футов, а топот сотрясал землю. Не собака — целый осел. И вот мы с егерем завели разговор о погоде и тому подобном. А дворняга уселась на землю и, похоже, внимательно слушала наш разговор, наморщив лоб, так что я всерьез подозревал, что сейчас она взвесит все и поделится своим мнением, а то и укажет нам на ошибку-другую. Я похвалил собаку и спросил егеря, чем ее кормят, и он рассказал мне, что собака на самом деле не его, а жениного брата и что она вымахала на ланкаширском рагу — большая миска три раза в день. Что ж, я был изумлен, особенно когда услышал, что маленькие племянник и племянница егеря частенько катаются на ней верхом и за все время собака ни разу даже не рыкнула.

Я погладил ее громадную голову — как у би-

зона! — и почувствовал, как приятное тепло проникает в мою ладонь из собачьей шкуры, ниспадающей обильными складками. Я бы мог провести все утро рядом с восхитительной дворнягой, но егерь, очевидно, торопился по своим делам и вскоре завершил нашу беседу. Он снял шляпу, причмокнул уголком рта и мягко потянул за кожаный ошейник; и огромная, великолепная тварь, кажется, тоже кивнула мне, прежде чем повернуться и побрести прочь.

Я заметил, что стоило собаке раскочегариться, как егерю стало трудно за ней поспевать; они были уже в пятидесяти ярдах от меня, продолжая набирать скорость, когда мне в голову пришла мысль. Я окликнул их, человек и собака резко затормозили, и я поспешил туда, где они остановились. Должен сказать, мне понадобилось три или четыре попытки, чтобы выразить свою идею — когда меня озаряет, я становлюсь несколько косноязычен, — но в конце концов я смог донести свое предложение: соорудить седло под размер собаки, чтобы племянник и племянница егеря могли ездить на ней, не боясь свалиться. Лично мне идея показалась отличной — оседланная собака, здорово! — но егерь, не поднимая глаз от земли, вежливо отклонил предложение. Так

что мы попрощались второй раз, и они пошли своей дорогой.

Я всегда обожал собак. Кошки чересчур высокого мнения о себе, и компания из них неважная. Они совсем не понимают шуток и вечно блуждают в собственных мыслях. Иногда я прихожу к выводу, что все кошки — шпионы. Другое дело собаки — эти дурашливые создания готовы резвиться целый день. За всю жизнь, пожалуй, у меня было несколько дюжин собак — самых разных характеров, форм и размеров, — и хотя я с теплотой вспоминаю каждую из них, по-настоящему я был привязан лишь к одной.

Лет двадцать тому, на день моего рождения милый Гэлвей, лорд Сэлби, подарил мне прелестного щенка бассета. Его свора в то время была единственной на всю Англию (куда попала, я полагаю, из Франции), так что бассеты были весьма ценной и вдобавок необычной породой. Их легко узнавали по коротким толстым лапам, провисшей спине и мешковатым ушам — и столь же легко можно было подумать, что перед вами собака, которую слатали из остатков всяких других. Простейшая задача — ходьба, например, — для бассетов может явиться серьезным затруднением. Они похожи на чей-то неудачный

замысел. Шуба их всегда скроена на вырост, живейшим примером чему — щенок, подаренный мне в тот день. Шкуры на нем было столько, что хватило бы одеться еще двум-трем псам, причем половина этой шкуры свисала складками с его физиономии, которая, несмотря на юный — всего несколько месяцев — возраст щенка, уже несла на себе печать Нежизненной Скорби.

Его страдальческие глаза были такими красными, будто он пытался утопить горе в портвейне, но хвост стоял смирно, как ручка водяной колонки, и отвращение, с которым он разглядывал гостей на моем обеде, сразу меня подкупило. Очевидно, стать подарком с яркой лентой на шее, быть врученным под смех и улюлюканье было для «его почти нестерпимым унижением. Именно это его выражение печали и глубокого презрения похитило тогда мое сердце и в то же время столь ярко воскресило в памяти образ давно ушедшего Папиного брата, Леонарда.

(Дядя Леонард был в некотором роде военным. Чаще всего я вспоминаю его одиноко сидящим в бильярдной, где он лошадиными дозами поглощал виски и медленно заполнял комнату дымом своей сигары. На правой руке у него не хватало мизинца, и однажды он сказал мне, что потерял

его, потому что в детстве грыз ногти. Он погиб под Балаклавой в 54-м[1] — лошадь лягнула голову.)

Сходство между собакой и покойным дядей было столь разительно, что я начал подумывать, нет ли все-таки доли правды во всех этих разговорах о переселении душ, — и в итоге тут же назвал пса Дядей, что, кажется, его устроило так же, как и меня.

С этого дня мы стали не разлей вода, всюду ходили вместе, и, несомненно, во время нашего ежедневного променада мы составляли живописнейшую пару: я в одном из ярких жилетов, которые тогда носил, и гордый Дядя в ошейнике и пальтишке в тон, снующий рядом со мной, рыская по земле своим носом-картошкой.

Остается лишь надеяться, что он был счастлив, ибо физиономия его всегда хранила покинутое, измученное выражение, хотя в остальном Дядя был весьма бодрым и ласковым псом, потому я и считал его вполне довольным жизнью, да и во сне он не вздрагивал и не скулил, как многие другие собаки. Его чудесные висячие уши собирали всю грязь с наших проселочных дорог, и я многое

---

[1] Примечания: 1

Во время Крымской войны, в 1854 т., в сражении с русской армией погибла большая часть кавалерийской бригады лорда Кардигана. — Здесь и далее прим, переводчика

отдал бы, если б мог почистить их прямо сейчас. Но как-то весенним утром он заметил кролика в поле неподалеку, погнался за ним и застрял в кроличьей норе. Я как угорелый помчался к дому и стоял посреди холла, созывая слуг с лопатами, но, когда мы вернулись и выкопали его, бедняга уже задохнулся. Я отнес его домой, сопровождаемый процессией слуг, и на следующий день похоронил его в уголке Итальянского сада.

Спустя годы, бродя по аллеям, я замечал, что болтаю с ним о том о сем, как будто он здесь, рядом со мной, и мы по-прежнему самые лучшие друзья. Даже теперь, когда меня разморит у камелька и я решаю, что пора в постель, вставая, я иногда рассеянно шепчу: «Пошли, Дядя».

По большому счету пес до сих пор со мной, после стольких лет. Где-то в глубине моей души он все так же без устали виляет хвостом.

10 октября

Последний тоннель почти закончен — бурные выдались деньки.

Когда этим утром мистер Бёрд вошел в столовую, неся под мышкой свернутую в трубочку бумагу, вид у него был, как обычно, самый непритязательный, но все его лицо светилось.

Я заметил, что он немного... беспокоился, что ли... Глаза его то и дело вспыхивали, и вскоре я сам захмелел от предвкушения. За все эти годы мистер Бёрд и я прекрасно изучили друг друга, и он, конечно, был осведомлен о моей любви к схемам и картам, Но, когда он стал раскладывать на столе новый план, — оба мы, кажется, едва могли стоять на месте. Банка горчицы, чашка и блюдце были призваны нами придерживать завитые уголки карты. Затем мы с мистером Б. отступили на пару шагов, чтобы насладиться картиной в целом.

В самом центре карты помещался мой дом в миниатюре (нарисованный тушью, и, надо сказать, весьма похоже) в окружении конюшен и флигелей — все было подписано четким курсивом. Мастер перенес на карту целое поместье вокруг дома, аккуратно отметив каждую дорогу и перелесок. А затем, когда мы стояли, завороженно глядя на карту, мистер Бёрд осторожно извлек из кармана огрызок карандаша. Он поднес его ко рту, лизнул грифель, и я внимательно наблюдал, как он с точностью, которая сделала бы честь любому хирургу, чертил первый тоннель. Карандаш-пенек отправился к востоку от дома, невозмутимо рассек озерную гладь, взобрался на

самый верх Кисельного Холма и сделал привал на задворках Уорксопа.

Мистер Бёрд приподнялся на локте и взглянул на меня. Я ответил ободряющим кивком. Едва заметный запах пота повис в воздухе между нами, и я подумал, что, должно быть, это наше Приглушенное ликование вдруг посреди большой прохладной комнаты заставило почувствовать запах разгоряченных лошадей.

В последующие несколько минут мистер Бёрд нарисовал еще три тоннеля, которые, покидая дом, протянулись, соответственно, к северу, югу и западу. Иногда они слегка отклонялись налево или направо, но в целом держались довольно прямо. Грифель мистера Бёрда довольно шустро наступал сквозь леса и поля, а когда он достигал конца тоннеля, я каждый раз отчетливо слышал липкий звук, с которым карандаш отрывался от карты. След, который он оставлял, был не больше точки в конце предложения, но в этом крохотном пятнышке я совершенно ясно видел вход в тоннель, скалистый, как пещера.

Там, где подземные улицы выходили на поверхность, стояло по маленькому домику, каждый с надписью «сторожка» на месте фундамента. Домики, согласно карте, в настоящее время зани-

мают Дигби, Харрис, Студл и Пайк — их работой будет по необходимости отпирать и запирать ворота, зажигать газ вдоль тоннелей, если в какой-то день они будут нужны после захода солнца, а также не пускать внутрь детей.

Теперь схема состояла из четырех карандашных линий, приблизительно одинаковой длины: дом, пустивший четыре корня, или, возможно, нечто смутно напоминающее циферблат компаса.

Но когда мистер Бёрд перевел дыхание и послюнявил карандаш в пятый раз, тоннели, проложенные им, полностью изменили картину. Он мастерски поместил второй крест поверх того, что уже украшал карту. Пирог, разрезанный на четвертинки, теперь был поделен на осьмушки, так что, когда работа карандаша была закончена, расположение тоннелей больше не напоминало компас, а походило скорее на спицы колеса, только без обода. Мне не сразу удалось сглотнуть, и на пару мгновений я почувствовал ужасную слабость. Кто бы мог подумать — Колесо, и мой дом — втулка!

Мистер Бёрд взирал на карту с такой нескрываемой гордостью, будто он только что сотворил тоннели легким взмахом волшебной палочки.

Одной рукой он оперся о стол, другой — поправил на носу очки. Краем глаза я заметил, что он тоже подсматривает за мной. Затем минуту или две мы молча взирали на карту, упиваясь каждой деталью, пока радостная благодарность не заполнила меня всего и не выплеснулась наружу.

— Превосходно, мистер Бёрд, — сказал я.

Показания мистера Бёрда

По-моему, Его Светлость впервые связался со мной года за полтора до начала работы. По его просьбе я приехал на встречу в Уэлбек, где он поделился со мной своими замыслами. В той или иной форме он уже составил в голове представление о том, чего ему хотелось — он всегда был уверен в своих желаниях, — правда, ни словом не обмолвился, для чего тоннели предназначены. Вообще, честно говоря, тоннели — не совсем то, чем мы обычно занимаемся, что я сразу и сказал Герцогу. Обустроить сад, иногда выкопать пруд или канаву — вот это больше по нашей части. Годом раньше мы кое-что соорудили на заднем дворе лондонской резиденции Его Светлости, и на первой же нашей встрече он сообщил мне, что ему понравилась наша работа. Насколько я помню, Герцог был просто очарован мощеной

садовой дорожкой, а особенно — коваными узорами железной ограды. Так вот, он с самого начала пытался донести до меня, что моя контора лучше других подходит для исполнения его замыслов.

Помню, у него с собой был деревянный сундучок, полный набросков, которые он и высыпал на стол. Самые разные рисунки и диаграммы, все в одну кучу. Еще была масса планов, которые он так и не собрался изложить на бумаге и теперь довольно долго пытался вспомнить некоторые из них, и еще дольше объяснял. Но его основная идея заключалась в строительстве целой системы тоннелей, расходящихся от дома и бегущих под поместьем во всех направлениях. У большинства выходов предполагались сторожки; только два, насколько я помню, были без присмотра. Но, сказать по чести, их довольно сложно обнаружить, не зная, где они находятся.

Из восьми тоннелей, которые мы со временем построили в имении Его Светлости — добрых двенадцать миль, в общей сложности, — половина была двадцати футов шириной, в высоту достигала пятнадцати и была достаточных размеров, чтобы две кареты без труда могли там разъехаться; остальные тоннели были где-то вполовину меньше. Я не назвал бы их очень уж нарядными

с виду: арка в форме подковs из простого красного кирпича, сводчатая крыша там, где тоннели сходились под домом, и переходы к конюшням, выложенные плиткой. Но они были прочными и вполне отвечали своему предназначению, и я уверен, что они простоят еще сто лет.

Закончив работы под домом и добравшись до садов и прилегающих полей, большую часть прокладки тоннелей мы делали так называемым открытым способом, когда в земле просто выкалывают глубокую канаву и, уложив кирпич, закидывают землю обратно на крышу. В итоге большинство тоннелей в поместье уходят под землю не больше чем на пару футов. В дневное время они освещаются световыми люками — два фута в диаметре и четыре в толщину — на равных расстояниях, что-то около двадцати футов, и каждый из них потребовал своего «дымохода», что, наверно, больше всего нас и задержало. Каждый тоннель был снабжен двумя рядами газовых горелок, слева и справа, чтобы зажигать их по ночам. Я слышал, там разместили около пяти тысяч газовых ламп, но я рад сообщить, что именно это поручение досталась кому-то другому.

В общем, как вы можете представить, все это вылилось в массу работы, которая заняла у нас

довольно много времени. В среднем у нас работало 200 человек одновременно — по шиллингу в день на брата. Герцог настоял, чтобы каждой паре рабочих предоставили осла — ездить в лагерь и обратно — и чтобы каждому дали зонтик. Уверен, вы и сами можете представить эту картину. Летом у нас было нарядно, как на курорте, зато в дождь — куда как мрачно.

Над тоннелями нам следовало устроить лестницы и проходы, которые вели наверх, к самому дому Герцог — он очень любил люки и всякое такое. Прямо нарадоваться не мог.

Раз уж мы об этом заговорили, вот что мне вспоминается. Мы были еще на ранней стадии — насколько я помню, это была всего вторая или третья наша встреча, — и вот входит Его Светлость с ужасно обеспокоенным видом и прямо с порога спрашивает:

— А как же корни деревьев, мистер Бёрд? Неужели они пострадают?

Убедившись, что правильно его понял, я, как мог, постарался заверить его в том, что корням деревьев в его имении ничего не угрожает и что если, к примеру, мы случайно наткнемся на корни какого-нибудь древнего дуба, то вполне в наших силах проложить тоннель в обход. Похо-

же, мой ответ его успокоил.

Так или иначе, я хочу сказать, что работу мы сделали хорошо. Это самый большой заказ, выполненный моей компанией. Мы пробыли там так долго, что, когда настала пора уезжать, я чувствовал себя так, словно покидаю родину. Жаль было расставаться.

Как вы знаете, есть много разных историй про внешность Герцога — что он ужасный калека и на него страшно смотреть. Но те люди, которые рассказывают подобные байки, просто любят распускать слухи, только и всего. Любой, кто видел его хотя бы однажды, скажет вам то же самое. Да я раз сто с ним встречался, не меньше, и самое худшее, я могу про него сказать, что иногда он выглядел несколько бледным. Слишком чувствителен к погоде, вот и все.

Боюсь, что строительство тоннелей только поддержало все эти безумные истории. Когда человек ведет себя экстравагантно, прячется от людей, они, как правило, дают волю воображению. Кончилось тем, что из него сделали настоящее чудовище, но это всего лишь их фантазии.

За то время, что мы прокладывали тоннели — а мы пробыли там целых пять лет, — не припомню, чтобы я хоть раз прямо спросил у Его Светлости,

для чего, собственно, эти тоннели нужны. Почти сразу это стало не важно. Видно, проект, в конце концов, поглотил меня так же, как и самого старика. Время от времени ребята пытались расспросить, а то и сами сочиняли какой-нибудь слушок. Людям свойственно увлекаться такими вещами. Думаю, это все от нечего делать или, может, от зависти. Но потом Его Светлость появлялся на стройке, и слухи тут же утихали, сохли прямо на корню.

Я иногда думаю: что, если он просто страдал от застенчивости? Застенчивости в крайней степени? Ну да это уж не мне судить. Почти всех нас иногда посещают странные идеи, только не у всех есть деньги, чтобы их осуществить. Вот у старого Герцога деньги нашлись.

Нет, не скажу, что расстался с ним без сожаления. Он был само благородство.

Из дневника Его Светлости

14 октября

Проснулся после третьей кряду беспокойной ночи, и мой желудок определенно был не в порядке. Этим утром собирался нанести визит моему садовнику, мистеру Сноу, который, как я слышал, тяжело болен, но, взглянув на свет божий через окно, я увидел, что ветер так и срывает листья с деревьев, а барометр на башне Восточного Крыла грозит новыми потрясениями. Принял решение остаться дома — по крайней мере, пока не кончится дождь. Раскопал чистый хлопчатобумажный платок и пропитал его лавандовым маслом. Запросил по трубе новостей о моих трикотажных носках, но, не получив ответа, отправился вниз по лестнице, как номад в тапках, узнать, что происходит.

Наконец разыскав миссис Пледжер в прачечной, заполненной клубами пара; с закатанными по локоть рукавами она приступала к груде мокрого белья. Она кивнула в мою сторону, но продолжала возиться с тряпками. Оказалось, что сегодняшний день отведен на стирку по-

стельного белья, и через пару секунд я смог как следует оценить явившуюся мне картину трудолюбия. Горячая вода плескала через края каменных раковин, мыльная пена бушевала и носилась повсюду. Пронзительный аромат мыла внушительно действовал на глаза и нос. Мокрые простыни свисали с деревянных перекладин, от которых тянулась к потолку целая сет веревок и балок; и при виде этого громадного пространства, заполненного мокрым полотном, и бурной активности внизу мне захотелось думать, что я забрел на борт какой-то многомачтовой яхты, попавшей в ужасный шторм.

Четыре девушки помогали миссис Пледжер с бельем, и, поскольку в моей привычке то и дело забывать имена ее подчиненных (кажется, они все время приходят и уходят, или вдруг оказываются в положении), ей пришлось представить нас. Таким образом, я узнал, что в настоящее время в доме трудятся, по крайней мере, «две Энни, да Анна, да Сара», и, пока они продолжали упорно оттирать и полоскать, я прислонился к одной из огромных раковин и беззвучно повторял их имена, чувствуя, что фраза эта странным образом успокаивает.

Поскольку все полностью погрузились в свои

занятия, я был в изрядной степени предоставлен самому себе и, чтобы скоротать время, принялся глазеть в оставленную на время раковину, наблюдая на остывающей поверхности воды тихое крушение мыльных пузырьков. Очень занимательно. То, что вначале было мягко шипящим пенным блином, меняло свою форму по мере того, как иссякала мыльная пена. Я обнаружил, что если немного постараться и призвать на помощь фантазию, то можно разглядеть, как эта пена принимает форму острва Британия — то был совершенно белый детина, будто присыпанный свежевыпавшим снегом. Шотландия была его угловатой шляпой, пальцы его ног торчали из Пензанса, в Уэльсе был живот, а вокруг Лондона — мягкое место. Меня порядком обрадовало это маленькое открытие, хотя, если честно, сложно сказать, что было на самом деле и что додумал я сам.

Ну а пузырьки продолжали лопаться, и мой пенный Альбион исправно растягивался и сокращался, пока я не заметил, что он, по сути, перевоплотился в — да! — Итальянский Сапог с высоким каблуком. Британия становится Италией — какая путаница могла бы из этого выйти! Интересно, какая бы у нас была погода? И какой

язык? Пожалуй, всем нам пришлось бы говорить на латыни. (Amo, amas, amat…)[2] Прекрасно!

Я все еще предавался счастливым раздумьям в таком роде, когда центр Италии неожиданно разошелся и полуостров, только что казавшийся таким цельным, раскололся на четыре или пять маленьких островков. Что ж, вот это был удар, и мне пришлось здорово напрячь воображение, чтобы выдумать другой порт приписки (с географией у меня всегда были нелады). Япония, возможно, или Филиппины. Надо было торопиться… острова сжимались, как льдинки на солнце. Я еще успел навести резкость на последний архипелаг из пены, но видение возникло лишь на миг, и секундой позже оно замерцало и исчезло, не оставив после себя ничего, кроме унылой лужи грязной воды, словно какой-то водный апокалипсис взял свое.

Весь процесс, как оказалось, совершенно меня вымотал. Тем не менее я был готов закатать рукава и предложить свою помощь, полагая, что мне весьма понравилось бы напенить собственных пузырьков. Однако миссис Пледжер категорично заявила, что они с девушками лучше справятся

---

[2] Примечания: 2
Люблю, любишь, любит (лат).

сами, так что я тихо поплелся в угол и постарался занять себя, как мог.

Глядя, как из простыней выколачивают грязь, вспомнил теорию, которую лелеял в последнее время. Теорию, с которой, как я теперь понимаю, миссис Пледжер знакомить не стоило. А именно: не может ли, случайно, плохой ночной сон как-то оставлять свои следы на простынях? Возможно, остатки меланхолии, которые ткань каким-то образом впитывает. Не правдоподобно ли, продолжал я, что и спал-то я в последнее время так беспокойно, потому что ранее, потея, напитал простыни своим дурным самочувствием, которое потом под действием тепла моего тела вновь обрело силу.

Сразу было видно, что мои семена упали на самую что ни на есть каменистую почву. Я признаю, что теория необычная и несколько недоработанная. Но миссис Пледжер никогда не относилась к прогрессивной мысли сколько-нибудь серьезно. Ее длинные тонкие губы стали еще длиннее и тоньше — в сущности, стали не больше, чем трещинкой. Она заполнила свою необъятную грудь, опустошила ее одним великим вздохом, а затем вернулась к своей борьбе с кучей белья.

И все-таки, уходя, я попросил ее, чтобы одна

из девушек обязательно сняла простыню с моей кровати и отдраила ее особенно безжалостно.

Показания мистера Гримшоу

Дело шло к закату, когда я получил указания приготовить карету для Его Светлости, чтобы отвезти его и камердинера Клемента с визитом к старому мистеру Сноу. Этот день накрепко засел в моей памяти ввиду того, что наша дорога обратно впервые должна была пройти под землей и все, конечно, волновались по этому поводу. Ну, я подогнал карету к парадному входу и сидел, глядя, как садится солнце, да жуя табак. И вот я сидел, жевал и ждал, чем занимаюсь, как мне кажется, полжизни.

Так вот, было бы нечестно, если бы я не взял и не сказал прямо и откровенно, насколько этот здоровый дом нагонял на меня тоску одним своим видом, да притом не раз и не два, да так, что я вдруг принимался ерзать на своем сиденье, а я вообще-то не из беспокойных. Эта громадина вся в наростах — как по мне, полное уродство, — повсюду шпили и башни, и крыша постоянно просит ремонта. Спору нет, домина большой, внушительный. Гора камня, и кто знает, сколько в ней окон. Но я бы не назвал его приятным. Со-

всем. Мне он никогда не казался особо веселым жилищем.

В давние времена, говорят, дом был монастырем, где множество монахов ползали в рубищах и лопали одни орехи. Именно они построили первые подземные ходы, опасаясь... так... правильно ли будет сказать, ребят Генриха Восьмого? Ну, чьи бы это ни были ребята, они были вполне грозными, чтобы напуганные монахи вырыли спасательные тоннели. Два или три, кажется, и здорово узкие, и в случае чего, они бежали и выскакивали из-под земли где-то в лесу.

И вот, просидел я там, сдается мне, обычные четверть часа, когда они, наконец, вышли... Его Светлость в своей знаменитой бобровой шапке и Клемент следом за ним. Его Светлость всегда казался человеком угловатым, с его бородкой клинышком и пронзительными голубыми глазами. Мне он постоянно напоминал вязанку хвороста — весь из локтей, костяшек и коленей. Вообще говоря, Клемент всегда сопровождал Его Светлость в подобных поездках, и из них двоих получалась любопытная пара, если учесть, что Клемент такой большой и тихий, а Его Светлость такой маленький и болтает без умолку.

Я бы еще сказал, с вашего позволения, что, хотя

сам я всегда очень любил лошадей, по моему разумению, Его Светлость перегнул палку, когда дал им собственное кладбище. Я воспитан в христианской вере, и, по-моему, есть в этом что-то нечестивое. Я думаю, их следует отправлять на живодерню и прибирать обычным способом. Не нужны им надгробья с именами, цитатами из поэзии и так далее.

Иногда, как было в тот вечер, когда уже почти стемнело и мы покидали поместье через Лошадиное Кладбище, мой разум принимается выдумывать распоследние мерзости про все эти лошадиные трупы, которые там погребены. После мыслей об усталых старых клячах, гниющих под землей, внутри у меня, в конце концов, становится как-то совсем кисло. Приходится стискивать вожжи покрепче и понукать моих живых лошадок, дабы бежали еще живей.

Из дневника Его Светлости

15 октября

Казалось, старая миссис Сноу глядит на меня сквозь очки целую вечность. Она все еще не издала ни звука, так сосредоточенно разглядывала меня, стоя в темноте на пороге собственного дома. Ее правая рука крепко вцепилась в шпингалет, как будто я мог быть грабителем, а он — маленьким пистолетом, и, пока молчание становилось глубже, я чувствовал, как тепло коттеджа тихо сочится вокруг меня, утекая в ночь.

Клемент стоял позади, совсем рядом, и я услышал, как он набирает воздух, чтобы представить меня во второй раз, когда в увенчанной очками голове миссис Сноу, наконец, что-то сработало и она раскрыла свой аккуратный ротик.

— Герцог, — сказала она.

— Это я, — отозвался я и склонил перед ней непокрытую голову. Она кивнула мне в ответ — три или четыре раза, может, и больше. И затем, когда я уже начал опасаться, что нас ждет новый период непринужденного стояния, она приступила к серии шаркающих шагов назад, волоча

тяжелую дверь за собой, а после спросила, почему мы не заходим.

С помощью Клемента ей удалось повесить наши пальто на крючок за дверью. Затем мы трое выстроились в караван, миссис Сноу в голове, Клемент в хвосте, и все двинулись похоронным шагом в сторону оранжевого света гостиной.

Боюсь, я не мог не обратить внимания на плачевное состояние ног миссис Сноу — еще кривее моих, — и, пока мы продвигались по коттеджу, я заметил, как рука ее ищет поддержки сперва у лестничных перил, затем у дверного косяка. На пороге гостиной миссис Сноу остановилась, чтобы собраться с мыслями, и это дало мне прекрасную возможность заглянуть ей через плечо и осмотреть крохотную комнату. Изрядное место занимал густо лакированный буфет, уставленный всякого рода кричащей посудой и разнообразными безделушками. И размерами, и блестящей древесиной он напоминал пароходик на озере Виндемир. Обеденный стол и разнообразные стулья занимали бóльшую часть оставшегося пространства.

Собрав в стадо свои блуждающие мысли, миссис Сноу вновь объявила:

— Это Герцог, — (на этот раз, как я понял, скорее

для своего мужа, чем для меня) и согбенно попятилась к табурету, что позволило мне впервые посмотреть на мистера Сноу, которого великое множество подушек поддерживало в кресле у огня. Он улыбался загадочной полуулыбкой и тщетно пытался подняться, так что я поспешил к нему, взял его руку в свою, а Клемент принес мне стул.

Джон Сноу, сидевший передо мной, весь обложенный подушками, разительно отличался от того человека, которого я видел в предыдущий раз. Для начала — и, думаю, никто не станет со мной спорить, — он зримо высох. В самом деле. Его тело опустело, как мешок. И хотя он никогда не отличался дородностью, нынче казалось, будто его череп вытесняет плоть с лица. Пучок волос, торчащий вверх на затылке, весь его крайне смущенный вид, локти, придавленные подушками к бокам... — он напоминал голодного неоперенного цыпленка, потерявшего гнездо.

— Как ты, друг мой? — спросил я его, пододвигая свой стул вплотную к нему.

В комнате было совершенно тихо, если не считать сложного ритма, который отбивал средний палец левой руки мистера Сноу на подлокотнике кресла, пленником которого он был. Он кивнул

мне, как и его жена, но, в отличие от нее, мистер Сноу, похоже, не столько пробовал общаться, сколько пытался уравновесить голову на шее. Он моргнул, глядя на меня, — раз, другой, третий, — потом опять кивнул.

— Мистер Сноу перенес удар, — объявила миссис Сноу.

— Да, я слышал, — ответил я через плечо и повернулся обратно к ее мужу, — у нас там все вверх дном, с тех пор как ты ушел. Далеко не столько цветов.

Я ждал, что он подхватит беседу, но он просто опять улыбнулся своей полуулыбкой. Я продолжил:

— Ты помнишь свои чудесные сады?

Его средний палец продолжал выстукивать свое безумное сообщение. Как будто он обнаружил на подлокотнике пятнышко и во что бы то ни стало хотел его соскрести.

Наконец его сухие губы разомкнулись. Он произнес:

— Я не совсем уверен.

Вот это сразу выбило меня из колеи. Забыл сады? Невозможно. Как может человек забыть сады, в которых проводил каждый рабочий день? Мне было больно — не стану скрывать, — словно

старик и впрямь меня ударил. Мне почти казалось, что он нарочно не может вспомнить сады. Но я, как мог, постарался скрыть разочарование и не отпустил его иссохшей руки.

Я рассказал ему, что теперь его работу делают три человека и справляются они вполовину не так хорошо. Я напомнил ему, как он ездил в парки в Баттерси, Кью и в Хрустальный дворец в поисках новых сочетаний растений для клумб. Я говорил о тюльпанах, крокусах и прочих весенних луковицах, надеясь пролить целебный свет в темные уголки его разума. И подобно тому как рыбак, наверное, пытается подманить свой улов ярко раскрашенными скрутками из перьев, я пытался поймать своего старого, ослабшего садовника на разговоры о цветах и диковинных плодах.

— Помнишь черный мускат, который ты мне вырастил? А персики с ананасами?

Я улыбался полной, широкой улыбкой за нас обоих, но чувствовал, как земля подо мной трясется и рушится. Мне отчаянно нужна была опора. Казалось, я куда-то соскальзываю. И вскоре я понял, что болтаю по большей части о самой разной чепухе, которая приходит в голову, в то время как на лице Джона Сноу отражается крайнее недо-

умение, которое прерывают лишь сконфуженно поднимаемые брови. Его глаза смотрели куда-то вдаль, и, хотя раз или два в них блеснуло нечто, поначалу принятое мною за знак откровения, они оставались так же холодны и пусты, как две стекляшки, и откровение все не хотело являться.

— Парники по-прежнему на месте, — сказал я ему.

— Парники... Да, — ответил он.

Это маленькое подтверждение вернуло мне уверенность. Вселило в меня надежду, за которую можно ухватиться. Со временем, рассудил я, его память может восстановиться; как поврежденная мышца, которой требуются легкие нагрузки, прежде чем она сможет работать как следует. Тут он неловко склонился в мою сторону и зашептал в ухо.

— Столько всего пропало, — поведал он и слабо вцепился в мою руку. — Оно на месте... — он снова смущенно втянул воздух, — но до него не добраться.

Я уставился на него в тихом ужасе. Лицо его сердито сморщилось. Глаза смотрели на меня тревожно, будто нас разделяла бездна.

Всего два года назад было совсем нелегко вставить словечко в разговоре с Джоном Сноу. Он

расхаживал туда-сюда по своим садовым дорожкам, попутно осматривая каждое растение. Но некое ужасное событие внутри его, какая-то маленькая закупорка, обрыв или протечка безнадежно снизили его способности. Его ополовинили; больше чем ополовинили. Пропала память почти всей жизни. Огромные просторы теперь под водой, затоплены целые континенты.

— Мистер Сноу перенес удар, — сказала Миссис Сноу, и на этот раз я обернулся и внимательно рассмотрел ее. Два маленьких огонька светили в линзах ее очков — отражения желтого света лампы, — но само лицо было белым, как мел. Единственным признаком жизни в бедной женщине была ее крохотная грудь, что вздымалась старательно и тяжко, будто собирая воздух со всей комнаты. И именно в этот миг я ощутил, что удар перенесли оба Сноу. Так или иначе, оба они были сокрушены.

Мы возвращались домой в молчании, не считая моей просьбы к Клементу — позаботиться, чтобы запасы еды и топлива у Сноу были в порядке, и попросить доктора Кокса нанести им визит и представить мне полный отчет. Вся поездка так расстроила меня, что я был вынужден отложить испытание тоннелей и велел Гримшоу везти

нас домой по Восточной Аллее, хотя в окошко кареты было видно так мало, а мысли мои — так мрачны, что ничего не изменилось бы, проделай мы милю-другую под землей.

16 октября

К северу от дома из моего окна ясно виден ряд лип, около пятидесяти футов вышиной каждая, и все лето напролет в них жужжит и роится целая колония пчел. В июне, июле и августе, когда солнце высоко, они доводят себя до полного исступления, и очертания деревьев теряются в их облаке. Полагаю, они просто делают мед. И за это их нельзя винить. Но все равно, за их беспрестанным шумом чертовски тяжело разобрать собственные мысли.

Сейчас пчелы хранят молчание. Все мертвы или спят крепким сном. Их яйца припрятаны внутри ветвей, пока в мире снова не потеплеет. Где-то в этих липах — задатки целой пчелиной популяции. Заперты до весны.

Листья облетают с этих лип, как они облетают со всех деревьев в поместье, что приводит меня в самое тягостное расположение духа. Грецкие орехи и каштаны, ясени и дубы стоят обнаженные среди осеннего холода и сырости.

Порой, когда опадающие листья постепенно обнаруживают древесные скелеты, я вижу едва заметные изменения с прошлого раза, когда они были голыми. Особенно изменилось одно дерево — неизвестной породы, на том берегу озера, — в этом году оно выглядит еще причудливее, чем прошлой зимой. Кое-кто в поместье считает, что в свое время его ударила молния — теория, не лишенная смысла, — и все же, хотя какие-то части дерева, несомненно, перестали расти, каждый год оно как-то исхитряется выдавить из себя случайное соцветие чахлых листьев. Помнится, несколько лет назад оно напоминало мне висящую свиную тушу. Прошлой осенью оно было форменным монстром, огромным скопищем язв и бородавок. Но этим утром, проходя мимо, я был совершенно уверен, что сквозь ветхую вуаль его листвы я вижу лошадь. Дикую лошадь, вставшую на дыбы, запрокинув голову назад.

Весь день находил себе занятия. Перед ланчем Клемент помог мне подвинуть кровать, так что изголовье теперь направлено строго на север. Я слышал, что такое расположение кровати помогает телу крепче спать, потому я и раскопал свой старый медный компас, и мы выровняли кровать аккурат с севера на юг. Само собой, Клемент

выполнил львиную долю работы, а я все больше создавал суматоху да изредка пыхтел. Но когда мы закончили и я прилег на кровать отдохнуть, мне кажется, я почувствовал заметное улучшение. Мой разум стал гораздо спокойнее.

Переназначил испытание тоннелей на девять утра завтрашнего дня; вернул дюжину рубашек «Бэтту и Сыновьям» (они на три унции тяжелее, чем следует, и воротнички слишком уж широки); съел ланч — острый суп, заправленный сельдереем, — в компании юного мистера Боуэна, каменщика, который отделывает входы в тоннели и тому подобное, затем осмотрел конюшни и школу верховой езды. Таким образом, я неспешно дотянул свою лямку до конца дня, ни разу не дав себе возможности задержаться на недавнем посещении четы Сноу. С той минуты, как я встал, я непрерывно занимал себя самыми обычными делами, но, без сомнения, на задворках рассудка я чувствительно переживал виденное мной крушение.

К четырем часам — для меня это всегда самая тоскливая часть дня — у меня совершенно кончился завод, и я очутился в кабинете наверху. Только я и старые часы.

Пустота окружала меня. Я чувствовал медленно

накатывавшую волну ужаса, что вот-вот должна была меня захлестнуть. Я ждал. Я слушал. И вот пришел миг, когда она обрушилась на меня.

Она поспешила заполнить каждый уголок. Страшное, грохочущее кипение в моей голове, которое теперь, когда у меня есть время спокойно все обдумать, я могу передать следующим образом:

Опыт нашей жизни надежно скрыт в сейфе нашей Памяти. Именно здесь мы держим наше прошлое. И, не считая редких сувениров, у нас нет ничего, кроме этих архивных записей о скромных успехах и ошеломляющих поражениях нашей жизни, о тех, кого мы любили, и (если нам повезло) о тех, кто любил нас в ответ. Единственное, что дает нам уверенность в хорошо проведенной жизни — или вообще проведенной хоть как-то, если уж на то пошло, — это свидетельство, которое мы бережно храним в Памяти на великих скрижалях нашего сознания.

Но что, если сейфовая дверь взломана? Что, если внутрь проникают дождь и ветер? Если так, то мы в серьезной опасности потеряться безнадежно и навеки.

И если нас постигнет эта опустошающая болезнь, наше единственное утешение — хотя бы

не знать о том, что мы потеряли, и доживать наши немощные дни в детском неведении. Но, судя по тому, что сказал Джон Сноу, ему было отказано и в этом скудном утешении. «Оно там, — я отчетливо вспоминаю его шепот, — но до него не добраться».

Лишившись памяти, мы лишаемся самих себя. Без нашей истории мы уничтожены. Мы можем ходить, говорить, есть и спать, но на самом деле мы никто.

Я сидел у своего бюро почти целый час, обхватив голову руками. Я чувствовал, как мной овладевает тьма. Ужасная, внутренняя тьма.

17 октября

Этим утром солнце бодро выкатилось на небо, весь мир сиял как медный чайник, и отблески этого сияния каким-то образом проникали в меня. Надел плотную бежевую рубашку, поплиновый жилет и шаровары, позавтракал копченой пикшей и яйцами в мешочек. Но, несмотря на радость, вызванную предстоящим испытанием тоннелей, я обнаружил, что тело мое до сих пор барахлит, и несколько большущих чашек крепкого «ассама» не смогли привести в действие мою утреннюю дефекацию.

Попросил Клемента доставить Гримшоу, карету с лошадьми и пару младших конюхов, потом разыскал свой новый дорожный сюртук и войлочную шляпу. По дороге захватил желтый шарф.

Теперь у меня целых четыре пути в подвал — под этим я разумею тоннели — и, кроме того, два кухонных подъемника. Во-первых, есть каменный лестничный колодец, куда можно попасть через маленькую дверцу позади Большого Зала, потом то, что когда-то было известно как «служебная лестница», которую я снабдил новыми плитами и перилами. Еще я добавил кованую винтовую лестницу, ведущую от двери рядом с камином в моей спальне прямо в тоннели (и куда также можно попасть через аккуратную дверцу, встроенную в деревянную обшивку столовой), и, наконец, узкий проход, который блуждает по всему дому, прежде чем спуститься несколькими пролетами каменных ступеней (и сооружение которого, добавлю, вызвало немало протестов обитателей дома из-за пыли и беспорядка).

Этим утром я выбрал винтовую лестницу, так что мой спуск сопровождался цоканьем ботинок по ступенькам, и в ответ мне высоко вверху и далеко внизу пугающе звенело эхо. Сперва прохладу тоннелей почувствовали лодыжки, затем

она медленно поползла по мне вверх; так тело купальщика погружается в холодные объятия моря. Как я и просил, в нижних пределах дома были зажжены все газовые горелки. Я прошел мимо входа в древние монастырские лазы (сейчас там запертые на засовы ворота), подземную часовню и семейные склепы и, наконец, вышел за погрузочной платформой, где ждали Клемент и два младших конюха, тени которых расплывались на стенах позади них, как кляксы или большие черные плащи.

С гордостью могу заметить, что, вообще говоря, тоннели в большой степени разработал я сам, хотя воплотили их, конечно, мистер Бёрд и его люди. Внутренний круг, примерно двухсот ярдов в диаметре, соединяет входы в каждый из восьми тоннелей, проходы к конюшням и так далее. Лестницы выходят в грот у погрузочной платформы, и именно здесь мы вчетвером собрались, чтобы ждать мистера Гримшоу и его карету.

Стоять на этой каменной площадке было весьма прохладно не только из-за холодной земли со всех сторон, но и из-за сильного сквозняка, которым тянуло из тоннелей, — проблема, которую я, признаться, не предусмотрел. Но, заглянув в один, я был рад увидеть, что световые люки

превосходно освещают путь, придавая ему невероятную заманчивость. Я решил, что разве лишь в очень пасмурные дни будет необходимо зажигать газовые рожки раньше сумерек. На мой взгляд, ближайший к нам тоннель напоминал флейту изнутри, где люки играли роль клапанов, через которые столбами нисходил дневной свет. К тому же, стоя там, наша маленькая притихшая группа постепенно стала замечать легкий свист, доносившийся с разных сторон. Очень странно было слышать, как он набегает из тоннелей, с лестниц и вьется под ногами.

Спросил Клемента, не будет ли он любезен «нести мне еще сюртук и накидку с капюшоном, поскольку дорожного сюртука, очевидно, было недостаточно, и предложил ему возможность поехать на подъемнике, чтобы опробовать его. К этому он не проявил ни малейшей охоты, опасаясь, я думаю, что его большие размеры могут привести к падению лифта, но я заверил его, что подъемник был построен в расчете на груз, во много раз тяжелее его, и, после совместных с конюхами уговоров, довольно робко втиснулся в тесную кабину. Что за чудная забава! Юноши сменяли друг друга у веревки, и деревянный ящик, в котором сжался дворецкий, медленно

поднимался во чрево дома. Я высунул голову в шахту и поддерживал его успокоительной беседой, которая эхом носилась туда и обратно.

— Я буду держать голову в шахте, так что, если ты упадешь, мы оба погибнем. Как тебе, Клемент? — кричал я.

Лифты изначально поставили, чтобы не таскать багаж по лестницам, но теперь я вижу, что и сами по себе они могут послужить источником развлечения.

Клемент вернулся (по лестнице, добавлю), и все мы уже начали интересоваться, что случилось с Гримшоу, когда из внутреннего круга донесся отдаленный гул, породив раскаты во всех остальных проходах. Несколько секунд спустя из-за поворота лихо вылетел экипаж с крайне взбудораженным кучером, вцепившимся в поводья. Прошло порядком времени, прежде чем громыхание перестало блуждать по подвалу и осела пыль, явив Гримшоу, который щедро сыпал извинениями, рассказывая, как сперва он немного запутался, а потом и вовсе безнадежно заблудился. Он обещал внимательно ознакомиться со всеми поворотами и соединительными ходами при первой же возможности. Затем мы с Клементом забрались внутрь, уселись поудобней, и я

крепко затянул на подбородке ленты шляпы.

Гримшоу, с высоты своего кучерского сиденья, отодвинул заслонку и представил нам свою голову, торчащую вверх тормашками между сапог, со словами:

— Во-первых, Ваша Светлость. Вы точно уверены, что я не ударюсь ни об чё головой?

Я сказал ему, что точно. Он сосредоточенно кивнул, очевидно, ничуть не убежденный. Потом спросил:

— По какому тоннелю мне ехать, Ваша Светлость?

Я немного подумал.

— На север, — объявил я. — На север, к Полюсу... и с ветерком, если не возражаете.

Гримшоу опять уныло кивнул своей все еще перевернутой головой, затем закрыл заслонку. Я слышал, как он, вздыхая, усаживается на свое место. Затем с треском кнута и возгласом «Н-но, пошла... эй, н-но!» мы тронулись мимо конюхов, машущих в воздухе шапками. Похоже, они сердечно приветствовали нас — это я могу лишь предположить, поскольку за шумом колес и копыт я ничегошеньки не слышал. Я и не подозревал, что будет такой грохот, и, возможно, призадумался бы о том, чтобы заткнуть уши

носовым платком, если бы не был так занят тем, что орал на Гримшоу, который пропустил въезд в Северный тоннель, вынудив нас сделать лишний оборот и свернуть туда на следующем круге.

Когда мы опять поравнялись с младшими конюхами, вид у них был изрядно озадаченный, но, к их чести, и во второй раз они сняли шляпы и устроили еще одну серию неразличимых приветствий. Затем, наконец, Гримшоу нашел нужный въезд (я мысленно отметил, что надо установить у каждого входа четкие и понятные знаки), и мы, как угорелые, пустились по Северному тоннелю под аккомпанемент грызущих удила лошадей.

Все утро мы носились по тоннелям взад и вперед — сначала по Северному, затем по Северо-Восточному и так далее. Шум стоял невообразимый, как если кричать в колодец. С равными интервалами летели мимо световые люки, производя впечатление постоянно вспыхивающего света. Сперва это немного раздражало, особенно в сочетании с безбожным шумом, но со временем стало даже забавным, а запах лошадиного пота и увещевания Гримшоу только добавляли впечатлений.

При помощи моих драгоценных часов я отмечал длительность каждой поездки (как от дома, так и обратно, поскольку некоторые тоннели

имеют уклон). Я взял с собой блокнот и записывал все свои открытия, как быстро бы мы ни скакали.

К середине утра нам понадобились свежие лошади, и конюхи отвели первых двух в конюшню, чтобы их расчесать, а немного погодя я послал записку миссис Пледжер, в которой попросил ее приготовить нам легкую закуску, которую мы и забрали в следующий раз, когда проезжали погрузочную платформу, и съели по дороге.

Я с тревогой выслушал от мистера Гримшоу, что, когда мы выезжаем из тоннелей на улицу, свет иногда слепит лошадей, но он предположил, что шоры решат эту проблему. Я сделал пометку у себя в блокноте.

И мистер Пайк, и мистер Харрис стояли по стойке смирно, каждый у своей сторожки, и, очевидно, были крайне заинтригованы, так что я пригласил их присоединиться к нам для поездки к дому и обратно. Мистер Харрис (один из наших лучших псарей), похоже, был не прочь, а вот мистеру Пайку потребовались дополнительные уговоры, чтобы решиться поехать, и, когда он вышел из кареты, его определенно трясло.

По выражениям лиц конюхов было видно, что их энтузиазм порядком выдохся, и каждый раз,

проезжая мимо, я замечал, что его еще поубавилось. Так что, в качестве поощрения, я позволил им прокатиться на багажной полке; радости их не было предела, и к тому времени, как мы закончили, они скалились друг на друга, как два безмозглых дурачка.

Время шло к двум, когда я завершил мероприятие. Знойное марево переполняло тоннели. Мы загнали три пары лошадей, и мистеру Гримшоу понадобилась помощь, чтобы слезть с сиденья. Отпустил его на остаток дня и поручил конюхам отвезти карету на место. Мои сюртуки были сверху донизу запорошены пылью, и в ушах звенело, как на колокольне.

Когда мы с Клементом продвигались к винтовой лестнице и проходили мимо двери в подземную часовню, мой взгляд упал на весьма необычный резной орнамент. Я был уверен, что не видел его раньше. Рисунок был проще некуда: в каменном круге, шести дюймов в диаметре, сквозь ширму травы или тростника смотрело детское лицо. Я тоже смотрел на него. Что-то в его неотрывном взгляде глубоко встревожило меня, хотя я не мог сказать, что именно.

Я расспросил о барельефе Клемента, но он заверил меня, что знает не больше моего. Подумал, не

могла ли эта резьба быть работой Боуэна, но она не выглядела старой — просто незнакомой. Я почувствовал, что меня начинает подташнивать.

Это поведение, эти перепады настроения становятся для меня довольно привычными. Вот я праздную победу над депрессией и чувствую себя совершенно превосходно. А в следующую минуту, безо всякой причины, я ощущаю, как настроение начинает падать, и провожу остаток дня, слоняясь, как лунатик.

Никто не восхищает меня так, как инженеры этого мира. Ученые, механики, изобретатели... снимаю шляпу перед ними всеми. Как я завидую их способности понять, из чего состоит та или иная штуковина, не споткнувшись о собственную голову. Быть в состоянии починить то, что сломано, сделать очевидно не подлежащее восстановлению снова исправным. Я бы очень хотел обладать подобным умением.

Но я боюсь, что такая способность — из тех благословений, которые либо даются с рождения, либо не даются вовсе, и как ни считай, а мне этого добра никогда не хватало. Десяти лет я все еще с трудом завязывал шнурки, и даже сейчас это кропотливое дело может вывести меня из себя. Все даже отдаленно технические задачи, например,

отличить правую сторону от левой, всегда требовали от меня такого чудовищного напряжения мысли, что мой первый гувернер, мистер Кокер, возможно, ошибочно приняв эту неспособность за простую неаккуратность и, хуже того, за вызов, счел своим долгом наставить меня на путь истинный. Каждый день в течение целого месяца к каждому из моих запястий привязывали кусочек бумаги — один с буквой «П» на правую руку, другой с «Л» на левую. Но если бы он спросил меня, я мог ему сказать, что они ни капли не помогали, и в конце каждого дня, снимая их, я был в такой же растерянности, как и в начале. Из-за них я только чувствовал, что выгляжу, как дурак, и они все время лезли в суп, и вот, наконец, мистер Кокер всплеснул руками, издал носом странный звук и признал свое поражение. Очень хорошо помню, как протягивал вперед руки, подобно пленнику, которому сейчас будет дарована свобода. То было немалое облегчение, ибо до этих пор я тратил полчаса каждое утро, гадая, какую бумажку к какому запястью привязывать.

Но я не счастлив в своем неведении. Напротив. Мне нравится думать, что любопытства во мне столько же, сколько у химика или архитектора, просто я не обладаю их талантом. Моя отсталость,

уж поверьте, никогда не мешала мне разбирать все на части — а только лишь собирать обратно.

С детских лет я периодически страдал от иррационального страха, будто я на грани неизбежной гибели. Думаю, будет правильным сказать, что виной тому в основном мой рассудок. Само по себе мое тело работает весьма прилично, и, нуждаясь в еде, питье и обильном отдыхе, по большей части оно является автономным и хорошо отлаженным аппаратом. И все же стоит мне подумать о каком-то определенном насосе или клапане — простейшим примером являются легкие, — внутри меня звучит сигнал тревоги, и все летит к чертям.

Ум паникует, пытаясь вырвать у тела рычаги управления дыханием, и вскоре я уже охвачен несогласованностью, не зная, вдыхать или выдыхать. И стоит мне начать, я вижу, что возврата нет.

Все, что остается, — это попытаться найти другую пищу для размышлений. Так, чтобы отвлечься, мне приходилось читать на память стихи или исступленно скакать по комнате.

Но не каждый ли из нас — невежда, когда речь заходит об устройстве наших тел. Я что-то сомневаюсь, что даже те, кто, по их заявлению,

понимают каждое сочленение плоти — каждый вентиль и гланду, — воспринимают себя с такой же искушенностью, занимаясь повседневными делами. Ибо я считаю, что все мы склонны представлять работу различных частей нашего тела в виде простейших схем. Ибо, по моему мнению, все мы склонны полагаться на простейшие схемы, которые представляют для нас работу различных частей нашего тела. Вот как я, например, рисую в уме...

Каждое легкое на самом деле — крохотное перевернутое деревце, основание ствола которого выходит к моему горлу. Когда я вдыхаю, на ветвях появляются листья. Когда я выдыхаю, листья исчезают. Таким образом, времена года постоянно сменяют друг друга в моей груди. Они появляются каждую секунду или две. Чтобы я не умер, жизненно важно, чтобы эти маленькие деревья не оставались голыми надолго.

Полагаю, я впервые вызвал это видение, когда был еще совсем крохой, но с тех пор, должно быть, провел не одну сотню часов (многие из них уже будучи вполне взрослым), стараясь поддерживать достаточную крону на моих легочных деревьях. Ребенком я часто лежал в постели, слишком напуганный, чтобы заснуть: вдруг тело

забудет I поддерживать мое дыхание в эту долгую темную ночь.

Я осмелюсь заявить, что на самом деле большинство из нас почти ничего не знает о наших телах и о том, как они работают. Но, конечно же, эти важнейшие сведения должны быть доступны нам без того, чтобы вычитывать их в книгах. Самое меньшее, на что мы могли бы рассчитывать, приходя в этот мир, — это появиться вместе с полным руководством по себе.

— Где руководство? Вот суть моего иска.

— Где инструкции?

Показания мистера Боуэна

Свою первую по-настоящему самостоятельную работу я получил именно у Его Светлости, так что, как вы можете вообразить, я вполне собой гордился и расхаживал с таким видом, будто подрос на несколько дюймов. Всего в поместье я пробыл около полугода. Плата, да и обхождение, были весьма хороши. Мне дали одну из комнат для слуг и первым делом позволили самому вставать по утрам. Я брал с собой хлеб с сыром, завернутый в платок, и съедал его прямо на рабочем месте, а когда, часов в семь или восемь, я приходил на кухню, там ждал меня горячий обед.

Встретившись с Его Светлостью раз или два, я по большей части был предоставлен самому себе. Я приходил к нему со своими эскизами, иногда и он мог показать мне парочку собственных набросков. Такие странные рисунки на клочках бумаги. Я прикалывал их на стенку у себя в мастерской.

Но рисовальщик из Его Чести был никудышный, так что я внимательно выслушивал все его идеи и пытался воплотить то, что он говорит. Время от времени он наведывался ко мне, поглядеть, как мои успехи, но по большей части меня не трогал. Мне было поручено завершить внешний вид тоннелей: ворота и тому подобное. Ну, я рассудил, что здесь потребуется что-нибудь вроде обелиска или греческой урны. Обычно это и просят. Но когда я уже был готов ими заняться и пошел спросить Его Светлость, какие у него пожелания, он спросил меня, не хочу ли я изваять лук. С луковицей полутора футов в диаметре.

Ну, мне потребовалось какое-то время, чтобы состряпать луковицу, которая бы понравилась нам обоим. У меня из-за них даже голова начала болеть. Честно говоря, я боялся, что стану посмешищем. В конце концов у меня получилось нечто очень похожее на традиционный камен-

ный шар. Только немного сплющенный и со стеблем наверху. Но ни с чем другим его нельзя было спутать — это был лук с головы до пят. Его Светлость сказал, что, по его мнению, это то, что надо. Когда он был воздвигнут, ко мне стали подходить с расспросами. Большинство считало лук первоклассным. Эскиз был моим собственным, так что, конечно, мне было приятно, когда меня спрашивали, не я ли — луковый парень. Я не без гордости отвечал, что да. Итак, около нортонской сторожки у нас был лук, а ворота у Белфа украшала цветная капуста.

Самым большим заданием был грот (как неизменно называл его Герцог), расположенный там, где все тоннели мистера Бёрда выходили к погрузочной платформе. Я получил указания покрыть весь потолок штукатуркой — футов тридцать над полом, — а затем вырезать подобия разнообразных «природных» вещей. Его Светлость снабдил меня списком подходящих предметов, таких, как ананасы, виноград и рыбьи головы. Помню, он спросил, не могу ли я изобразить раковину и, возможно, ячменные колосья?

Ну, как и в случае с луком и цветной капустой, меня такому не учили, и в начале я немного колебался. Но Его Светлость спросил меня, есть

ли у меня воображение, и, когда я ответил, что, полагаю, оно у меня есть, он сказал, что тогда мне стоит взять да и применить его к чему-нибудь. Мне было сказано, что я могу соорудить более-менее все, что покажется мне занимательным, при условии, что это что-то «натуральное».

Ну, я взялся за дело. Начал с фруктов, потом приступил к животным... змеи, улитки и все такое... и скоро обнаружил, что здорово приноровился. Через пару дней я уже совершенно не волновался. Здесь птичья головка, там желудь. Где-то лист папоротника, сплетенный с пером.

По вечерам я иногда выбегал пропустить стаканчик — «Погреб» в Уитвелле или старое «Птичье Гнездо», — и, разумеется, мне приходилось выслушивать всякие истории о Герцоге, ходившие в то время. Поскольку я был чужаком в этой местности, да к тому же моложе других посетителей, мне порой было трудно спорить с тем, что они говорили. Сказать по чести, после пары кружек я и сам порой мог сочинить байку-другую. Теперь я, конечно, очень этого стыжусь.

За неделю до того, как покинуть поместье, Его Светлость вызвал меня к себе, и, едва завидев его, я первым делом подумал, что сделал что-то не так. Я подумал, может, что-то из сказанного мной

'в пабе дошло до него, и теперь я получу разнос, а то и буду уволен. Но он всего лишь спросил меня про медальон, который видел у подземной церкви. Ему было интересно, не моих ли это рук дело. Он отвел меня вниз, и я взглянул на медальон. Он был очень простым — всего лишь лицо, смотрящее сквозь кустарник. Навскидку я сказал бы, что это четырнадцатый век, хоть я не историк. Скорее всего добавлено тогда же, когда построена часовня. Каменщики, конечно же, не разделяли верований монахов, плативших им за работу, так что, возможно, это был просто языческий символ, который они припрятали. Я слышал, они часто так поступали. Скорее всего это был старый добрый Зеленый Джек[3].

[3] Примечания: 3

Кельтский дух. Живет в дубах и охраняет лес. Участвует в традиционном празднике начала лета (1 мая)

Из дневника Его Светлости

22 октября

Чудесный день! Этим утром, когда я глядел из окна столовой, размышляя, чем бы себя занять, вошел Клемент с большим цилиндрическим свертком, перевязанным бечевкой.

Я немедленно взял командование в свои руки, сказав:

— Нам понадобятся ножницы, Клемент. Ножницы, как можно быстрее!

Через минуту мы уже срезали шпагат, удалили несколько квадратных ярдов упаковочной бумаги и разворачивали на столе карту, выполненную в самых изысканных цветах. Я часто заморгал, на глаза навернулись слезы — сущий ребенок! — но забеспокоился, что они могут капнуть на карту и испортить ее. Я достал платок, хорошенько прочистил нос и постарался собраться.

Клемент протянул мне сопроводительную записку, которая гласила:

Милостивый господин Герцог Вот карта, о которой я однажды говорил, нарисо-

ванная местным землемером, мистером Джорджем Сандерсоном. Пожалуйста, примите ее как скромный знак благодарности моей компании за столь щедро оплаченную работу и как личный подарок в честь окончания такого приятного визита. Засим остаюсь Верным Слугой Вашей Светлости,

Гордон С. Бёрд

P.S. Полагаю, ее следует повесить на стену.

— Мистер Бёрд говорит, что карту следует повесить на стену, — объявил я, отдышавшись. — Нам понадобится помощь, чтобы держать ее.

И пока Клемент пошел собирать подмогу, я воспользовался случаем поизучать карту в одиночестве.

Мы с мистером Бёрдом почти сразу обнаружили, что разделяем страсть к картографии. Я показал ему свою скромную коллекцию карт севера Англии и помню, как он упомянул местную карту большого масштаба, выполненную в форме диска. Я довольно неопределенно пообещал разузнать о ней, да так и не занялся этим. Но теперь, годы спустя, я стоял перед этой самой картой, и радость переполняла меня. Как и к большинству

сильных удовольствий этой жизни, к ней странным образом примешивалась меланхолия.

Не успел я начать разглядывать все эти розовые, зеленые и голубые пятна, как вернулся Клемент с двумя горничными, которые, под его внимательным присмотром, подняли карту, чтобы ее можно было как следует рассмотреть.

Результат был ошеломительный. Карта настолько велика, что девушкам пришлось встать на стулья. В диаметре она добрых шести футов. Может, и больше.

Особенно поражает именно форма карты — очевидно, идеальный круг, — которая наводит на мысль о том, что ты стоишь перед картой целого мира. Вот оранжевый, пурпурный, желтый — все живописно перемешаны, как фрукты в салате. Но только если подойти гораздо ближе и прочесть названия княжеств, столь искусно украшенных этими цветами, понимаешь, какой это маленький мир, с Мансфилдом в качестве столицы, как будто остальная Англия была обрезана, как обрезают лопаткой сырое тесто для пирога, свисающее по бокам тарелки.

Ясно видны дороги и реки: вздутые вены напряженного человека. Они ползут вверх и вниз, туда и сюда, связывая весь этот странный шар. Каж-

дый городок, деревня и пастбище названы своим законным именем, в уменьшенном виде изображена каждая церковь, каждый лес представлен карикатурным платаном или дубом, гнездящимся в озерке собственной тени. Названия каждого района и графства тянутся по карте огромными буквами, так что сердце замирает при мысли о тех бедолагах, что вынуждены ютиться под огромной У или С ОКРУГА УОРКСОП.

Каждый переход цвета обнесен частоколом линий, оставленных пером мистера Сандерсона. Честно говоря, штриховка какого-нибудь уклона напоминает неряшливый отпечаток пальца художника. Как будто мистер Сандерсон имел удовольствие сидеть наверху, по правую руку от Бога. Взирать на пейзаж с точки зрения Создателя и зарисовывать для нас, простых смертных.

Но не все хорошо! При ближайшем рассмотрении замечаешь, что там, где сходится много дорог и стоит много зданий, эффект совсем не привлекательный — как опухоль или клякса. Город размером с Шеффилд, к примеру, выходит очень темным и перенаселенным — уродливый тромб в кровообращении этого мирка.

Если взглянуть еще внимательнее, видишь, что в попытке впихнуть какой-нибудь дальний

город на край карты мистер Сандерсон местами нарушил свою восхитительную окружность. Ротерхэм торчит из планеты, как готовый лопнуть нарыв, Бэйквелл свисает, как струп.

И потому я отвел глаза от язвенных городов и селений, чтобы отправиться на поиски своего пасторального жилища. Найти Уитвелл не составляет труда, значит, я нахожусь чуть-чуть восточнее. Вот Кламбер, стало быть, я зашел слишком далеко. Я иду обратно — теперь медленно, медленно. И вдруг — ура! — вот оно! Мой дом, мое озеро, моя собственная подъездная аллея! Подписан даже погреб для льда, а также Зеленый Дол и Семь Сестер — мои благородные старые дубы. Эта находка доставляет мне нескончаемое, глубокое удовольствие. У меня есть место. Я существую.

Я почти утыкаюсь носом в дом, как будто могу увидеть самого себя, машущего из окна. И к несомненному изумлению моих юных горничных, осторожно упираю палец в это самое место на карте.

— Я здесь, — говорю я.

27 октября

Еще одна ночь беспокойного сна. Проснулся,

не зная, где я вообще нахожусь. Как будто меня выхватили из океана сновидений и бросили на незнакомый берег.

Нет недостатка в фантастических теориях, объясняющих тайны сна. Лично мне всегда нравилась та, что предполагает, будто душа спящего возносится на другой уровень бытия, так что, пока наше тело спит под земным одеялом, наш дух парит в вышине.

По моему мнению, тончайшая нить соединяет дух с покинутым телом, которое действует, как якорь, и по этой нити нисходят вибрации звездных прогулок духа, которые спящее тело воспринимает как сны. Итак, когда мы спим, мы играем с воздушным змеем, но мы и змей, и тот, кто его запускает.

Но если весь мир пускает по ночам змеев, значит, небо должно быть заполнено нитями. Очень опасно. Вопрос: что происходит, когда две нити перепутываются? — ибо это легко может случиться. Вдруг тогда душа случайно вернется по другой бечевке и, проснувшись, обнаружит, что поселилась в теле незнакомца? Это беспокоит меня, с перерывами, уже довольно долгое время, и примерно так я чувствовал себя сегодня утром. Время уже шло к ланчу, когда я более-менее при-

вел свои мысли в порядок.

Днем мы проехали через Западный тоннель к Кресвеллу, чтобы оценить ущерб, нанесенный пожаром мистеру Кендэлу, который бесцельно бродил туда-сюда, обливаясь слезами, невзирая на мои многочисленные уверения, что обо всем позаботятся. Мне сказали, что он как-то связан с детским садом или псарней — в любом случае ему повезло, что он остался жив. Ужасная, едкая вонь все еще наполняла дом; стены и потолки были черными от копоти. После пяти минут я решил, что достаточно повидал, и сказал Клементу, чтобы он возвращался в карете, а сам я пойду пешком, через Коровью Опушку и Гончарную Печь.

Стоит посмотреть, как огонь преобразил жилище человека после того, как он заснул в кресле с горящей трубкой. Каждая поверхность изменила свою фактуру. Знакомые предметы — чайник, табуретка, зеркало — стали неузнаваемыми. Но все это — ничто, если сравнивать с побоищем, которое смена времен года учиняет в лесах, и когда сегодня я шел через поместье, всюду меня встречало полнейшее, всеобъемлющее разорение.

Пейзаж совершенно лишился цвета; каждое дерево, каждый куст дрожал, обезлиственный. Им

осталась лишь самая скудная часть спектра: от пепельно-серого до тускло-коричневого. Остальное впиталось в землю, из которой пришло, или было смыто дождем. Самые маленькие деревья протягивали ветки, как попрошайки, но я ничего не мог для них сделать.

Единственным видимым признаком жизни был одинокий кролик, который, почуяв мое приближение, во всю прыть понесся к своей норе. Мои шаги производили тягостный шум, когда я ступал на сухую листву и хворост, и древесина вокруг молча возвращала мне этот треск. Каждое дерево выглядело... оскорбленным. Притихшим и обиженным, как ребенок, которого ударили. До вечера я не услышал ничего, кроме эха ружейного выстрела (думаю, это кто-то из моих людей), дважды долетевшего со стороны заброшенного сада с угрюмой обреченностью хлопнувшей двери.

Я сам, полагаю, очень похож на сиротливое дерево. Осень пугает меня до смерти. Каждый год я беспокоюсь, что не переживу ее, что эта может быть последней. Иногда я боюсь, что злонамеренная рука вырезала весну и лето из календаря и притачала зиму прямо к следующей осени. Никогда не выходит толком отдохнуть от осени. Как будто все время осень.

Теперь мне приходится гораздо чаще останавливаться во время прогулок — в компании я пытаюсь сделать вид, что любуюсь окрестностями. Конечно, не похоже, чтобы я заснул, но я, должно быть, как-то выскользнул из сознания, потому что, очнувшись от дремоты на камне, я обнаружил, что небо совершенно потемнело. Поначалу я лишь чуточку забеспокоился, но, посмотрев вокруг и поняв, что я в дремучем лесу и не имею понятия, как сюда попал, я был глубоко потрясен. Как будто меня выхватили из времени.

Как до меня мой отец, я периодически страдаю от случайных «отсутствий» — секунд, даже минут, когда мой мозг, похоже, совершенно выключается. В юности, без малейшего предупреждения, я мог полностью отключиться от всего, что происходило вокруг меня. Друзья, которые при этом присутствовали, говорили, что я будто погружался в глубочайшее самосозерцание. (Отец мой, кстати сказать, заявлял, что это все от недостатка железа в пище — вот почему он ел столько печенки.) Итак, хотя мне не впервой оказаться в подобном замешательстве, я, честно говоря, не могу припомнить, чтобы отсутствовал так основательно и долго. Когда я пришел в себя,

в горле было ужасно сухо и все тело было холодным, как лед.

Адской боли мне стоило подняться на ноги. Кровь, которая замедлилась почти до полной остановки, теперь принялась бурлить в моих конечностях. Крайне неприятное ощущение, которое лишь изнурило меня еще больше. Было такое чувство, как будто в мои ноги залили в два раза больше крови, которая в любое мгновение может вырваться наружу и заполнить мои ботинки.

Лес больше не был тихим. Поблизости заунывно ухала сова — может, это она меня потревожила? — и холодный ветерок настойчиво трещал ветвями деревьев. Мне пришло в голову, что теперь они кишат мелкими насекомыми всех мастей. Ночь вдохнула жизнь в целый лес.

Я отправился в путь, не имея представления о своем местонахождении. Через несколько шагов из-за дерева выскочила бледная луна и последовала за мной. Первые пару минут я был рад этой компании — ее блеск освещал мне путь. Но, несколько раз обернувшись и каждый раз замечая, что она не отстает, я вскоре подумал, что с удовольствием избавился бы от нее. Луна очень проницательна, и она смотрела на меня

сверху и как будто понимала все мои мысли. Я прибавил шагу, но чем быстрее я шел, тем быстрее она неслась сквозь ветви, а когда я слегка замедлил свое движение, она последовала моему примеру. «Черт возьми! — подумал я. — Она не оставляет меня в покое». Затем: «Если она собирается следовать за мной до самого дома, надо бы мне покончить с этим скорее», и я что было сил припустил рысью. Со временем, я полагаю, ее заслонило облако, и я смог вернутся к более культурной походке.

Клемент встретил меня на аллее, лампа освещала его встревоженное лицо. Он ничего не сказал, только обернул одеяло вокруг моих плеч и сопроводил меня в дом.

У Фанни Аделаиды был ангельский голос. Покидая сцену после занавеса, она просто сгибалась под тяжестью букетов. Но когда я думаю о ней — а я все еще думаю о ней слишком часто, — в память непрошеным гостем входит не голос, но шея, дававшая ему жизнь.

В один из своих визитов она приехала из Лондона, и путешествие, очевидно, утомило ее, потому что, когда, распорядившись насчет чая, я вернулся в Лебединую Гостиную, я нашел ее уснувшей на кушетке. Рука в перчатке была подложена

под склоненную голову, а туфля слетела с ноги. Платье растекалось вокруг нее. Она была словно выброшенное на берег сокровище. Помню, ее прекрасные волосы смотрелись великолепной копной спутанных завитков, и я никогда не мог понять, каким образом они держатся вместе. Я смотрел, как она лежит, забывшись в грезах, дыша полуоткрытым ртом.

Мне даже польстило, что она заснула; я подумал, что это показывает, насколько безопасно она чувствует себя в моей компании. Итак, я уселся на кожаный пуф и молча любовался ею. И сидел бы так вечно, если бы бряцание чайного сервиза в холле не заставило меня поскорее перехватить горничную.

Но когда я осторожно ставил поднос, она очнулась и в ту же минуту решила, что на самом деле ей совсем не хочется чаю, но она с удовольствием прошлась бы по саду и подышала деревенским воздухом. И я повел ее наружу через стеклянные двери, и мы совершили тур по клумбам и лужайкам. И хотя она почти не участвовала в разговоре, я был рад просто находиться с ней рядом и чувствовать ее руку на моей.

Я хотел показать ей каждый уголок своего сада. Я принялся вдохновенно болтать о дюжине раз-

ных предметов — балаболка, вот кем я был. Но под цветущей вишней она остановилась, обернулась и приложила палец к моим губам. Склонила голову, будто различив песню диковинной птицы, в то время как я слышал лишь собственные дурацкие слова, все еще проносящиеся в мозгу. Затем она сказала, что тщательно обдумала мое предложение и теперь настала ее очередь говорить. О, я бы отдал все. Все. Я бы умер ради нее.

Закончив, она опустила руку в сумочку, достала изящный футляр и протянула мне. Мне не следует открывать его до ее отъезда, сказала она. Следующим поездом она уехала обратно в Лондон.

Оставила меня стоять там, в саду, запутанного, поверженного.

На следующий год она вышла замуж за своего агента, Питера Николсона, и навсегда покинула сцену. У них родилось двое детей, Джордж и Чарльз, которые, по общему мнению, были сказочно красивы и умны и весьма благовоспитанны. Каждое утро вся семья взбиралась на Парламентский Холм. Затем, спустя неделю после ее тридцатого дня рождения, она съела кусок рыбы, который показался ей не особенно подходящим, и на следующий день умерла. По-

хоронили ее на Хайгейтском кладбище. Об этом писали газеты, но я не был на похоронах.

В футляре, который она вручила мне под цветущей вишней, были золотые часы. Старомодные карманные часы от «Хобсона и Бёрроуза». Замысловатая вязь гравировки под крышкой обещала мне вечную привязанность Фанни.

Десять тысяч раз я открывал эти часы. На их циферблате я видел приход бесчисленных Новых годов; с каждым разом компания становилась все малочисленнее, и шума и ликования было все меньше. Даже сейчас я открываю их, должно быть, по двадцать или тридцать раз на дню, считая время до следующей еды или свежего чая. Десять дней назад я использовал их, чтобы узнать, как быстро мы с Клементом доезжаем в нашей карете от одного конца тоннеля до другого. Но точнее всего эти часы отмеряют неторопливую поступь десятилетий с тех пор, как Фанни Аделаида отвергла мою руку и сошла в землю из-за испорченного куска рыбы.

Эти часы красивы, и есть какая-то ирония в том, что сей шедевр механики должен лежать в моем жилетном кармане и соседствовать с моим сердцем, которое, будучи всего лишь человеческим, барахлило уже с самого первого дня их

знакомства.

28 октября

Прошлой ночью я впервые за две недели как следует выспался. Я счастливо витал в эмпиреях, пока меня не разбудило потрескивание огня. Клемент способен на чудеса с несколькими скрученными бумажками и одинокой хворостинкой, и его широкая спина все еще склонялась над камином, когда я открыл глаза. Отблески пламени придавали комнате розовый оттенок, который помог изгнать холод, проникший в меня во время лесного пленения. Клемент целеустремленно вышел из комнаты, и, пока постепенно приводил себя в чувство, к треску огня присоединился плеск и брызги горячей воды из ванной по соседству. Затем Клемент весьма торжественно вернулся в облачке пара, которое медленно таяло вокруг него, пока он шел к моему гардеробу. (Он большой, как медведь, этот Клемент, но ступает легко, как котенок.)

Мой халат был раскрыт для меня, и, когда руки мои осторожно пробирались в глубину рукавов, я вдруг осознал, до какой степени болит мое тело. Все эти часы, что я прошлой ночью провел, скрючившись на камне, кажется, оставили свой след.

Я последовал за Клементом в ванную, как старый преданный пес. Взял с туалетного столика ручное зеркало и уселся в плетеное кресло, ожидая купания.

Не стоило мне класть зеркало на колени. Мои мешки под глазами выглядели в нем, как слоеное тесто, и складки кожи свисали с лица здесь и там. Но скорее всего этим утром зеркало вернуло бы ту же пугающую картину из любого положения. Так что, сделав все возможное, чтобы не обращать внимания на общий распад и увядание, я сосредоточил свои усилия на тех участках головы, где немного ремонтных работ все еще могли что-то исправить.

Маникюрными ножницами я осторожно подстриг волосы в ноздрях. То же с бровями. Затем изгнал поросль, напоминающую папоротник, из ушей — из ушей, господи помилуй! — которая делала их похожими больше на заросшие входы в забытые пещеры, чем на уши цивилизованного человека. Волосы со всех трех частей моей головы выглядят на удивление одинаково — все они темные и подозрительно толстые. Все растут совершенно беспорядочно и с ужасающей скоростью. Уверен, что, если бы я не приставал к ним с ножницами, в один прекрасный день я взглянул

бы в зеркало и увидел дикаря.

Так же как существует искусство разжигать огонь, существует и искусство готовить ванну, и, наверное, было бы странно надеяться, что каждый сможет его освоить. Несколько лет назад, когда сестре Клемента нездоровилось и он выпросил недельный отпуск, чтобы присмотреть за ней, миссис Пледжер велела одной из своих горничных заняться моим купанием. Признаться, ее первая ванна была не так уж плоха — налита чуть быстрее, чем нужно, и не слишком хорошо перемешана, но в целом она оставила вполне приятное впечатление. Как бы то ни было, вторая попытка была катастрофой. Оскорбление, как для купальни, так и для купальщика. Похоже, она напустила горячую и холодную воду не в том порядке и с не той скоростью. Ванна была полностью испорчена, и ее пришлось вылить. Я тотчас же отослал девушку на кухню — не сомневаюсь, портить картошку — и весь остаток недели сам боролся с проклятыми кранами.

Клемент прочистил горло. Моя ванна была готова. Я сдул обрезки с зеркала и, для опоры вцепившись в предплечье Клемента, опустил сперва одну, потом другую ногу в ванну, все еще одетый в халат и ночную рубашку. Постоял на месте,

пока не убедился, что твердо стою на ногах, затем дал Клементу осторожно стянуть с меня одежду через голову (что он и проделал, как обычно, вежливо отведя взгляд, как будто именно сейчас он заметил пылинку на лацкане и подумывал, как бы получше с ней разделаться). Затем я робко погрузил свои старые кости в воду.

Определенно, у меня внутри что-то не в порядке. В этом нет никаких сомнений. Органы, которые всего месяц назад деловито крутились и вертелись, теперь замедлили свои волнообразные движения почти до полной остановки. Но когда горячая вода покрыла мою усыпанную мурашками кожу, отыскав подмышки и замерзшие пальцы ног, я почувствовал, что восстанавливаю, по крайней мере, часть жизненного тепла. Медленно сползая в ванну, пока кончик моей бороды, как некий прибрежный куст, не погрузился в воду, я размышлял, каким это образом люди могли сколько-нибудь расслабиться до изобретения горячей воды. (Должно быть, в преклонном возрасте Наполеон не вылезал из нее. А минойцев, как я слышал, часто хоронили в ваннах — так они их обожали.)

Как я уже сказал, Клемент — Банных Дел Мастер и любит придавать каждой ванне уникальный

характер — обычно посредством особого сочетания глубины и температуры, а также других, не так легко определяемых качеств, — чтобы удовлетворить мои наиболее серьезные, по его разумению, потребности. Со мной по этому вопросу он никогда не советуется; я целиком предоставляю все ему. Но когда время ванны на подходе, иногда я чувствую, как его большие карие глаза осматривают меня, пока он делает расчеты.

Сегодняшняя ванна была горячей, глубокой и пенистой. Голова моя возлежала в высоком воротнике пузырьков. Коленные чашечки оставались на дюйм или два над водой и вскоре стали единственной частью тела, которая не была замечательно красной, как рак. Моя грудная клетка напоминает стиральную доску, и, когда она вздымалась и опускалась, вода в ванне накатывалась и отступала, подобно частым приливам и отливам. Лежа там, я размышлял, не является ли на самом деле великое движение океанов мира туда-сюда следствием раздувания и сжимания континентов, а не странной связью между морем и далекой луной. Это была праздная теория, к которой я возвращался каждую неделю, и через минуту она развеялась, как и все сопутствующие

ей мысли.

То была одна из самых глубоких ванн Клемента, и вода доходила почти до верхнего слива под массивными медными кранами. Погрузившись глубже в пену, я поднял небольшую волну, которая на мгновение закрыла круглую сетку слива, прежде чем вернуться. Затем, когда поверхность постепенно успокоилась, я услышал явственное бульканье воды, мчащейся к свободе вниз по трубе.

Где-то надо мной я слышал отдаленный скрип и сопение бака с горячей водой, восстанавливающего силы. Минутой позже поворот крана где-то еще в доме — возможно, на кухне — запустил вверх-вниз по трубам новую серию завываний и вздохов. Я слушал со всем возможным вниманием, ловя все менее различимые звуки, пока, наконец, не стал казаться себе дирижером, который руководит оркестром, чьи концерты состоят лишь из водяных свистков и стонов. Я лежал там, мысленно созерцая все трубы в доме — спрятанные под половыми досками, извивающиеся в стенах, — и обнаружил, что они странным образом подбадривают меня. Я думал о фонтанах в саду и их собственных маленьких системах водоснабжения. Я думал обо всех желобах, о милях

канализации. О бурном сливе ватерклозета. И на минуту я почувствовал, что, просто лежа там, в теплой воде ванны, я — часть сложной кровеносной системы дома, который, несмотря на целый ряд кряхтений и содроганий, продолжал превосходно функционировать.

Я все еще лежал в этом счастливом оцепенении, когда до меня донеслось «тук-тук-тук», приближавшееся по коридору. Я сразу опознал в этих звуках шаги кого-то любимого и давно покинутого — какого-то старого друга. Эмоции, что дремали долгие годы, всколыхнулись во мне и заполнили меня радостью. Он подходил все ближе, и с каждым его шагом я становился все радостнее. И вот он был прямо перед ванной, у самого входа. С переполненным сердцем я ждал, затаив дыхание, но он почему-то не входил. Лишь настойчиво доносились шаги: тук... тук... тук...

Кажется, я сказал: «Откройте дверь».

Я открыл глаза и смотрел, как шаги медленно преображаются в звук подтекающего крана. Ударяясь о воду, каждая капля издавала звон, пуская круги ряби на поверхности. Я выкарабкался из ванны, все еще одурманенный, и чуть ли не бросился к двери, но, еще не взявшись за ручку, я знал, что никого там не увижу.

Вернулся в ванну и протомился там довольно долго, готовый заплакать оттого, что мне не удалось воссоединиться с обладателем шагов, и в то же время полный любопытства, кому бы они могли принадлежать.

2 ноября

Все утро мы раскатывали по тоннелям, проверяя, чтобы птицы не попали внутрь. Объехали все один за другим, пока я совершено не успокоился. На ланч был превосходный тушеный заяц.

После моего недавнего исчезновения Клемент настоял, чтобы я не забредал слишком далеко от дома, так что сегодня днем я неспешно прогулялся до деревни Нортон, под присмотром дозорного. Навестил мисс Уиттл в Почтовом Отделении, выложил ей все о тушеном зайце. Мы обменивались взглядами на отвары и соусы, пока нас не прервал еще один посетитель, и я опять отправился домой.

Погоду в последнее время сложно назвать мягкой, так что я был с головой укутан шарфами. На мне была пресловутая бобровая шапка и два сюртука, а третий был перекинут через руку, так что я был несколько смущен, когда набрел на двух играющих на пустыре детей, одетых лишь в

шорты да фуфайки.

Я постоял в отдалении, пытаясь пбнять их игру, которая, похоже, включала немало беготни, воплей и, время от времени, резких толчков, но после двух минут внимательного наблюдения я так и не смог постичь ни одного правила или ясной цели. Казалось, игра не подчиняется никаким законам, но оба мальчика без устали продолжали в нее играть и, возможно, провели бы за ней весь день, если бы один из них не заметил меня, когда я пытался проскользнуть мимо.

Второй парнишка продолжал бегать и орать, пока не заметил, что игра приостановлена. Тогда оба они просто застыли и вытаращились на меня, слегка приоткрыв рты. Их игра напомнила мне о горных козлах с их скачками и случками, так что я поприветствовал их сердечным:

— Привет, козлятки! — что было встречено гробовым молчанием. Козлятки продолжали глазеть.

Один из них был гораздо старше другого, но его маленький друг заговорил первым. Он узнал меня и пожелал мне доброго дня, так что я тоже пожелал ему доброго дня в ответ. Тогда он спросил меня, что у меня на голове, и, когда я представил это как бобра, их глаза явственно загорелись. Тот,

что побольше и потише, спросил меня, как я его поймал, и я объяснил, что не присутствовал при этом и, стало быть, не мог утверждать точно, но что скорее всего он попался в ловушку.

Затем мы втроем продолжили весьма содержательную беседу, в которой с обезоруживающей прямотой меня расспросили о моем внешнем виде, состоянии и недавно достроенных тоннелях. Мальчик поменьше честно сообщил мне, что когда-нибудь намеревается завести себе такую же шапку, как у меня, и вскоре мы обнаружили много общего в наших взглядах на достоинства тоннелей и бобровых шапок.

Пока мы болтали, мальчики стали гораздо непринужденнее и уже не стояли так скованно. Один из них показал мне фокус с веревочкой, а другой попытался научить свистеть, засунув пальцы в рот. В конце концов, я упомянул игру, за которой я их застал, и спросил у них, каковы ее правила. Ну, они посмотрели друг на друга, совершенно сбитые с толку, в своих потрепанных фуфайках и шортах, и мальчик поменьше посмотрел на меня и сказал:

— Эта игра не из тех, у которых есть правила, сэр.

Почувствовав, до чего же я стар и глуп, я побла-

годарил их за весьма приятную беседу и сказал, что мне пора двигаться дальше, не то мой камердинер начнет беспокоиться. Оба они покивали, будто и у них бывают неприятности с беспокойными камердинерами, и я дал каждому пенни и потрепал по голове.

И только сто ярдов спустя я подумал: «Какими горячими были их крохотные головки». Если голова взрослого будет такой горячей, его тут же уложат в постель и пошлют за доктором. Я обернулся и увидел, что они снова поглощены своей игрой без правил, и несколько мгновений я стоял и думал, что дети похожи на маленькие печки. Маленькие машины — вот что они напоминают—с почти неиссякаемым запасом топлива.

Это навело меня на мысли о том, как в прошлом году, проходя через Коровью Опушку, я нашел на земле мертвого воробья. На нем не было видно никаких ран, так что нельзя было сказать, отчего он умер. Я поднял недвижное существо и подержал в руке, наполовину ожидая, что он внезапно очнется и суматошно упорхнет. «Как мало весит воробей, — отметил я про себя тогда, и: — Как мало он похож на мертвого».

Но в сердце своем я знал, что он и впрямь был мертв, потому что, лежа в моей ладони, он был

холодным на ощупь. Крохотные перышки заиндевели и поблекли. Тогда я подумал о том, что все твари — просто сосуды, наполненные теплом, — и что крохотный воробьиный запасец был израсходован или каким-то образом вытек.

И может быть, каждая тварь несет в себе живой пламень — скромный огонек. И если по какой-то причине пламя содрогается, жизнь существа под угрозой. Но когда наше внутреннее пламя разгорается и охватывает нас, рождается безумие. По-моему, звучит разумно.

Но в мире так много разных существ — от юрких насекомых до огромных неуклюжих зверей: невероятно, чтобы все они несли в себе одинаковый огонь. Очевидно, что скорость жизни воробья и червяка, которого тот вытягивает из земли, совершенно различны и что внутреннее пламя кошки, медленно крадущейся к птице, тоже должно быть абсолютно другим.

Возможно, эти различия в скорости жизни общеизвестны и записаны в крупных научных трудах. Но записана ли там разница в силе горения между молодыми и старыми представителями того же вида? Ибо кто станет отрицать, что ребенок живет с быстротой, совершенно непохожей на медлительность старика вроде ме-

ня? В глазах ребенка каждый день длится вечно; для старца незаметно пролетают годы.

Хребет времени изгибается над пламенем свечи. Для каждого из нас солнце движется по небу с разной скоростью. Для одних существ жизнь — череда летящих солнц. Для других есть лишь одно солнце, которому требуется целая жизнь, чтобы взойти и закатиться.

6 ноября

С утра первым делом послал в город мальчишку с запиской к доктору Коксу, чтобы тот немедленно явился. Проснулся с ноющим чувством в пояснице и болью по всей талии. Без помощи Клемента я даже не смог сесть на кровать.

Мой живот значительно вздулся — весьма удручающее зрелище. Я мог бы вообразить, что нахожусь на последней стадии какой-то неестественной беременности, будь я хотя бы немного рассеяннее.

Давно миновало время ланча, когда в мою дверь постучала миссис Пледжер. Решительным шагом вошел доктор Кокс. На его лице, как обычно, читалось «я очень занятой человек». Очевидно, на языке у него вертелось то же, поэтому я опередил его:

— А я очень болен. — Это сбило с фанфарона спесь, и, пока он не натянул ее обратно, я продолжил: — Так что вы намерены предпринять по этому поводу?

Он погрузил руки глубоко в карманы штанов и выпятил жилет, как будто я мог захотеть полюбоваться пуговицами. На пару секунд задержал дыхание, потом с шумом выпустил воздух через нос.

— Клемент говорит, вы заблудились в лесу, — сказал он.

Отсутствие Клемента бросалось в глаза.

— С моим животом что-то не так, — отвечал я. — Пустите в дело стетоскоп.

Он развернулся и подкатил к своей черной сумочке. Открыл, поглазел внутрь секунду-другую, достал большой грязный платок и закрыл ее обратно. Вразвалочку вернулся к моей постели, высморкался в несколько коротких выдохов и разместил свой обширный, туго обтянутый зад на краю кровати, так что пружины крякнули и заныли от натуги.

— Как золотуха, прошла? — спросил он с жеманной улыбкой.

— Слава богу, прошла сама собой, — ответил я. — Должно быть, приступ был несильным. Он

выпучил на меня глаза и кивнул.

— Очень хорошо, — сказал он, расстегнув мою ночную рубашку и засунув внутрь холодную руку. — А столбняк?

— Со временем мне стало легче, — вынужден был признать я.

— А менингит?

— Тоже.

— Понятно, — объявил он. Затем, погрев руку на моей груди, он убрал ее и встал с матраса, оставив меня покачиваться на его волне. Жестом он показал мне, чтоб я застегнулся, а сам приобнял миссис Пледжер и отвел ее в угол комнаты, где оба они затеяли секретное совещание, спиной ко мне — причем доктор Кокс в основном шептал, а миссис Пледжер согласно кивала. Наконец, они расплели объятия. Похоже, он собрался уходить.

— И это все? — закричал я ему, выведенный з себя.

— Это все, Ваша Светлость, — сказал он и ушел.

Я остался глазеть на миссис Пледжер, которая тут же вспомнила про какой-то суп, за которым ей нужно присмотреть, и тоже сбежала, притворив за собой дверь.

— Он даже не снял шляпу! — крикнул я.

Позже, когда я спросил миссис Пледжер про

тет-а-тет с Коксом, она ответила, что он не сообщил ей диагноза, а когда я поинтересовался, что в таком случае могли означать все эти кивки и бормотанье, она сказала, что он объяснял ей, как лучше всего парить фрукты.

— Парить фрукты! — закричал я этой женщине. — Человек лежит на смертном одре, а врач дает его кухарке советы, как лучше парить фрукты!

К сожалению, миссис Пледжер ничуть меня не боится. Хотя мне очень этого хотелось бы. Она повела своими мощными плечами, будто подумывая, не броситься ли на меня и не выкинуть ли из постели.

— Он сказал, это пойдет вам на пользу, — протрубила она и величественно вышла, не преминув хлопнуть дверью.

Да что с ними такое? Только и знают, что хлопать дверью моей спальни.

Мне ничего не рассказывают. Я брошен умирать, как собака.

Из-за двери выглянул Клемент; вид его показался мне довольно робким. Он принес супу в маленькой миске. Запах был вполне съедобным, но, взяв в рот ложку этого варева, я чуть не выплюнул его обратно в миску.

— В супе фрукты? — спросил я его, но он лишь

пожал плечами и зачерпнул еще.

Весь вечер я праздно ворочался в постели, вымокший, как потерпевший крушение моряк на плоту. Меня наполняли воспоминания о детских болезнях — бесконечные дни лихорадочной скуки. Помню плюшевого мишку, что пережил со мной один из самых тяжелых приступов. Когда, наконец, я пошел на поправку, его у меня забрали и сожгли. Мама считала, что он полон микробов. Разумеется, я решил, что он подхватил этих микробов от меня, и несколько недель не знал, куда деваться от мук совести. Интересно, сколько дней своего детства я провел в спальне с опущенными занавесками? Болен... само слово наполняет комнату своим тошнотворно сладким запахом.

Я вспотел под простынями и оттого никак не мог успокоиться. Они совершенно спутались у меня в ногах. Каким-то образом ко мне пробралась крошка, и мне до зарезу надо было от нее избавиться. Она хотела забраться ко мне под кожу. Я не мог толком ни заснуть, ни проснуться, обремененный капризной одурью. Время от времени я встряхивался, садился в кровати и заглядывал под рубашку, но от вида своего раздутого живота чувствовал себя еще хуже.

Следует признать, что после утреннего фиаско с треклятым Коксом я чувствую, что нашему доверию, столь важному в отношениях доктора и пациента, пришел конец. По традиции, заболев, вы обращаетесь к врачу, который и определяет, что именно не в порядке. Не так ли все делается? Когда доктор называет ранее безымянную хворь, не это ли первый шаг к выздоровлению? Доктор сообщает пациенту, что у того есть право чувствовать недомогание. Неполадка найдена, термин или название присвоены (например: «У вас простуда, сэр», или: «Полагаю, сломан палец ноги»), и вы получаете точку опоры, основание, чтобы честно поболеть. Доктор дает разрешение на особую роль больного. Это небольшая, но существенная часть медицинской драмы.

Но если ваши жалобы попросту отметаются взмахом руки, если вы даже не получаете должной консультации, ваши отношения грозят попросту развалиться.

Помилуйте, ведь он даже не достал свой стетоскоп! Его котелок остался на голове, как приклеенный. Все, что он достал из сумки за то время, пока был здесь, — это свой чертов платок! Как вообще можно доверять такому человеку?

Пожалуй, с меня уже достаточно. Я порвал с

миром медицины!

Единственным лучом света в этот мрачный во всех отношениях день было возвращение карты Сандерсона из багетной мастерской Уотсона и Блэйклока. Они проделали отличную работу, и я велел им повесить карту на стену прямо рядом с кроватью. Вот где порядок, вот где смысл, вот где разум. Вот где нашла применение наблюдательность.

Я дул в переговорную трубу, как слон. Хотел какой-нибудь еды, которая не отдает пареными фруктами.

8 ноября

Сегодня к шести утра я уже совершенно проснулся; мой живот переполняла невероятная боль. За весь день она едва ли ослабла, стянув мою поясницу, как тесно обернутая стальная пластина, как мучительный кушак.

Слова бессильны. Мне больно. Это легко установить. Я могу немедленно определить беспокойство по всей окружности талии. Но, похоже, еще быстрее слова разочаруют меня. Я могу попытаться вообразить новые кушаки, новые стальные пластины — и ножи, и копья, раз уж на то пошло, — но все это бессильно передать ощущения в той

степени, которая бы хоть как-то их уменьшила. Слова, очевидно, не годятся для того, чтобы выплеснуть боль наружу. Даже близко не подходят.

Снова задремал и крепко спал где-то до полудня. Вызвал миссис Пледжер с чаем и медом и попросил ее принести мне несколько горячих полотенец. Их я разместил на своем вздутом животе, что принесло мне некоторое облегчение.

Днем, чтобы отвлечь и развеселить меня, добрый Клемент собрал слуг, чтобы сыграть в настоящий футбол. Он слышал, что в Уорксопе создали команду, и полагает, что нам в поместье следует сделать то же. Лужаек подходящей длины не сыскалось, так что пришлось использовать крикетную площадку. К сожалению, она в нескольких сотнях ярдов от дома, а поскольку выходить на улицу в таком состоянии я не собирался, мне пришлось наблюдать в холодную линзу телескопа, как мои повара, сторожа и конюхи собираются на матч.

Надо сказать, они были самого разного роста и комплекции и упражнялись в пинках по мячу с величайшей неохотой, умудрившись потратить целых пять минут, чтобы решить, как им разделиться на две команды. Впрочем, когда с этой белибердой наконец-то разобрались и всем

дали проверить мяч, они начали потягиваться и разминаться с чуть большим интересом. Ворохом снятых курток на земле отметили импровизированные ворота, и каждая команда поставила по одно-

му парню их защищать. Затем, когда Клемент, который судил матч, пискнул в свисток и мяч, наконец, поставили на поле и пнули, каждый человек — всего их было около шестнадцати — бросился за ним, как голодный волк.

Они бегали от одного конца площадки до другого. Они бегали одной большой, орущей и пинающей толпой, а я наблюдал за этой чертовой бойней в телескоп, как генерал на холме.

Минут через десять игроки постарше устали от беготни и попытались компенсировать этот недостаток, заняв стратегические точки на поле, так что, когда товарищу случалось завладеть мячом, они принимались кричать, чтобы тот пнул его на их участок. Таким образом, вскоре игра превратилась из форменного столпотворения в нечто, предполагающее хоть какое-то мастерство, поскольку члены каждой команды старались гонять мяч, не давая соперникам вмешиваться. Со временем, когда изнеможение укрепило свои позиции, стало очевидно, у кого из игроков был

талант, а кто им не обладал. Раз или два между товарищами случался искусный маневр, который заканчивался занятной многоходовой комбинацией. Взлеты мяча и передачи оплетали поле невидимой сетью. Следить за ее неторопливым развитием было особым удовольствием.

Ни на секунду не отрываясь от телескопа, я со своей выгодной диспозиции стал предсказывать ложные выпады и пробежки. Несколько раз я невольно выкрикивал какой-нибудь совет, нимало не смущаясь тем, что вряд ли кто-нибудь из футболистов мог его услышать. Один раз кожаный мяч пнули так высоко в воздух, что на короткое время об игре пришлось забыть, поскольку один храбрый молодой садовник расположился прямо под ним, так что падение снаряда было остановлено его головой. Но поскольку мяч поднялся очень высоко, возвращаясь, он набрал порядочно скорости, и, когда, наконец, он пришел в соприкосновение с головой садовника, тот повалился наземь, как тряпичная кукла. Кажется, в последний момент он передумал. Но было уже слишком поздно. Остальные игроки в ужасе вздрогнули, и дружное «Ох» вознеслось над полем, когда он рухнул. Нет нужды говорить, что глупость парня послужила хорошим уроком

и, когда его унесли, больше подобной акробатики не повторялось.

В целом же мячу довольно крепко досталось, и к тому времени, как последний человек пришел в полнейшее изнеможение и было объявлено перемирие, все выглядели весьма гордыми оттого, что покрылись грязью с ног до головы. Даже мне как наблюдателю показалось, что это приятный способ потратить час времени, хотя не могу сказать, чтобы я запомнил счет.

Когда все они удалились мыться и есть, я озаботился судьбой юноши, которому мяч попал в голову. Мне было интересно, какую именно боль он испытывал, какие ощущения затуманивали его рассудок. Но, как я ни старался, мне пришлось убедиться, что я не мог их вызвать. Мяч в голову, как это скверно. Мне не составило труда увидеть, как все произошло, но, как я ни старался, мне не удалось влезть в его шкуру. Возможно, у меня был полон рот своих неприятностей, которые, несомненно, были для меня более живыми и реальными. Его товарищи-садовники, вероятно, свалили парня в какой-нибудь темной комнате, для восстановления сил. Обычно так и поступают. С некоторой угрюмостью я заключил, что все страдальцы обречены быть запертыми в тихих,

затемненных местах и что каждый из нас должен в одиночестве переживать свою боль.

Остаток дня провел в сущей агонии, прочесывая старый медицинский словарь в поисках ярлыка для своей хвори. Сперва я подозревал аппендицит, а потом — расстройство селезенки, но при ближайшем рассмотрении обе гипотезы не проявили должной стойкости. Затем, около пяти часов, когда я глубоко зарылся в словарь, а солнце уже собиралось завершить этот день, мой палец остановился на странного вида статье, и в то же мгновенье я про себя воскликнул: «Эврика!»

Под заголовком «Камни» я нашел целый ряд занимательных сведений. Похоже, что при малейшей возможности эти камни готовы обустроиться практически в любом органе ничего не подозревающего человека. А когда я спустился до «Камней в почках», сразу понял то, что доктор Кокс предпочел не заметить. Мои симптомы в точности соответствуют тем, которые описаны в медицинской книге. «Полоса боли простирается от основания позвоночного столба, в направлении паховой области...» и так далее. Да ведь это про меня, от начала и до конца. Мои симптомы будто на заказ подобраны к «камням в почках».

Но вскоре радости у меня поубавилось, когда

после короткого раздумья стало ясно, что эти камни скорее всего потребуют операции. Ибо раз уж камень забрался в человека, нельзя представить, чтобы его легко было вытряхнуть. Вероятно, будут необходимы большие ножи, и мой живот придется полностью вскрыть.

Вопрос: для начала, как вообще эти камни попали внутрь меня? В супе? В хлебе?

Как бы они туда ни попали, словарь, похоже, намекал, что в настоящее время они скорее всего отправились в путешествие по моим внутренностям, что, очевидно, и является причиной боли. Воображение рисовало огромные валуны... сперва неподвижные... затем они медленно начинают катиться... и по дороге необратимо набирают скорость.

Они ужасающе грохотали. Целый час я лежал и слушал, и не знал, что делать.

Проснулся я весь взмыленный; мне снилось, что в меня проникла небольшая карета и что от ее передвижения по моим личным тоннелям у меня болит живот. Если не ошибаюсь, я был одновременно и пассажиром кареты, и тем, по чьим внутренностям путешествовал.

Было семь, когда Клемент принес пирог с дичью, отдающий фруктами. Я настоял, чтобы он

проверил, все ли кареты на месте и не пользуется ли кто-нибудь тоннелями.

Завтра позову другого доктора. Не эту обезьяну в жилете, а того, кто и впрямь знает свое дело. Найду толкового хирурга и расскажу ему о камнях.

9 ноября

Моя голова — барометр. И была им всю мою жизнь. И хотя кровь, а не ртуть течет в моих жилах и моему лицу недостает стрелки, чтобы указывать на «Ясно» или «Переменно», все равно на нем отражаются предчувствия изменений погоды. И потому этой ночью, когда в кромешной темноте я проснулся от тошнотворного давления в глазах и стреляющих болей, обосновавшихся в моем черепе, толком не придя в себя, я уже знал, что на подходе буря. Был бы хоть намек на дневной свет, можно было бы выглянуть из окна, свериться с барометром на башне и проверить свое открытие. Но я находился в заточении у ночи, и вокруг было черным-черно.

К головной боли я привык — раз в неделю или две у меня бывает приступ, — но эта боль не была обычным предчувствием ливня или предвестием ветреного дня. Приближался шторм

колоссальной силы, ибо голову мою будто накачали воздухом и череп был готов расколоться. И все же мое недомогание наверху не шло ни в какое сравнение с давлением и напряжением, которые я чувствовал внизу. Мой живот так раздуло, что было трудно дышать. Я был охвачен болью. Она обрекла меня на бессонницу.

Я дотянулся до свечи и зажег ее, чтобы попробовать успокоиться, но пламя только проделало брешь во тьме. Та просто отступила на фут или два и продолжала меня изучать. Моргая, я сел на своей огромной кровати и выпрямил спину. Выглянул из освещенного свечкой угла, все еще опьяненный своими снами. Тени лениво раскачивались из стороны в сторону, будто весь дом сочился мраком, а боли в голове и животе сжимали меня, как тиски.

Простыня соскользнула с меня, открыв живот, испытывающий на прочность швы ночной рубашки. Боже мой, чем я был наполнен? Если это и впрямь был камень, он рос с немыслимой скоростью, верно, достигнув уже добрых восьми дюймов в поперечнике. С трепетом я засунул пальцы под рубашку и расправил ее над своим сферическим животом. Обычно дряблая плоть сейчас была тугой, как барабан. Пупок, который

всегда был скважиной, способной вместить половину большого пальца, теперь был сдавлен в плотный, выпирающий узел — дико выпученный глаз. Какое-то маленькое чудовище выбрало меня в качестве своего убежища. Какое-то зло поселилось во мне.

Шторм все приближался. Я услышал собственные слова: «Господи помилуй».

Плотные шторы на окнах пританцовывали, дергаясь в порывах ветра, проникавшего сквозь щели. Ворота на улице исступленно гремели задвижкой, как будто ветер тряс их собственными руками.

Казалось, я слышал скрип древнего корабля: веревки и балки силятся удержаться вместе. То был ужасный хор нестройных визгов и хрипов перед неотвратимым крушением. Но звук шел не из окон и даже не от постели, где сон оставил меня. С отвращением я обнаружил, что звук исходил от меня, я сам был этим скрипящим кораблем.

Что-то тяжелое раскачивалось внутри меня. Я повернулся и скользнул на бок. Существо, что завелось во мне, пошевелилось. Тот, который сидел во мне, ожил.

В моем глазу появилась слеза и поспешила вниз по щеке. Что за боль! Я никогда не знал та-

кой боли. Чудовище внутри заставило мои ноги разойтись и закопошилось к выходу. Я ухватил свечу с ночного столика. Держа ее между ног, вгляделся в круг света. Одна рука ухватила стойку кровати, а другая пыталась удержать свечу. И в следующую секунду я был охвачен невероятнейшей мукой, как будто меня разрывало надвое. Внутри меня двигалась гора; первая капля дождя разбилась о подоконник.

Из меня вырвался высокий, режущий ухо звук, подобный рвущемуся парусу. Попав на свечу, он превратился в ослепительное, бурлящее пламя. Было оно лилово-голубым, шести футов длиной, и озаряло всю комнату. Вспышка отражалась от зеркал, отскакивала от стены к стене, и этот ужасный шум продолжал выходить из меня, пока я цеплялся за стойки обеими руками. Но когда мое собственное полыхание пошло на убыль и боль начала стихать, я стал замечать в комнате другие, новые огни. Полог, окружающий кровать, загорелся, и простыни полыхали.

Я выскочил из постели, бешено приплясывая. Споткнулся и упал. Вскочил на ноги. Опять упал. Языки пламени со злобным треском неслись вверх по муслину, их становилось все больше.

— Пожар! — закричал я, будто желая себя раз-

будить. — Пожар!

Я принялся исступленно носиться по комнате и вдруг увидел себя в зеркале. За подол моей ночной рубашки цеплялся огонек, словно злая шутиха. Я отпрянул, объятый страхом, а взглянув опять, увидел, что пламя расползается, заключая меня в свои жестокие объятья.

— Пожар! — завопил я, теперь уже громче. — Пожар!

Я скакал с ноги на ногу, хлопая по горящей рубашке голыми руками. Я был как умалишенный, как раненая птица. Пламя то пропадало — о, благословенное облегчение! — то возвращалось. Я сбивал его на плече, только чтобы увидеть, как оно возникает на поясе. Должно быть, я гасил одно и то же пламя дюжину раз — я колотил по своему телу, словно по африканскому барабану, — пока, наконец, окаянное не ушло, чтобы больше не появляться, и с необъяснимым приливом энергии я поспешил на борьбу с большими, дикими языками пламени, пожиравшими мою старческую постель.

— Оставьте ее в покое! — закричал я им. Будто бы во мне взял верх другой человек — более живой и куда более смелый. Я оглядел комнату. Я не знал, чего искать. Затем, в одно мгновение, я ныр-

нул под пылающую кровать и вылез с ночным горшком в руках. Почти полон. Великолепно. Я прицелился и выплеснул содержимое разлетающейся дугой.

На какое-то мгновение хаос повис в воздухе, словно ожидая указаний. Еще через мгновение весь огонь погас.

В комнате снова было совершенно темно и неожиданно тихо. Я стоял и слушал, глотая дымный воздух. Дверь распахнулась, и появился Клемент, держа лампу над головой. Комната опять выскользнула из мрака. Простыни были мокрыми и закопченными, отовсюду клочьями свисал муслин. Густая пелена дыма жалась к потолку, заслоняя собой все это жалкое зрелище. Я открыл окно, чтобы выпустить дым, но вместо этого впустил дождь с ветром. Прилетело несколько опавших листьев, они построились в хоровод и запрыгали, как дети вокруг невидимой елки.

В высоком зеркале я увидел чье-то отражение. Оно походило на старого бродягу — всего в саже и подпалинах. Обугленные останки ночной рубашки свисали с него, тут и там проглядывало бледное тело. Я попробовал встать прямее, но это не помогло. Ничуть не улучшило мое мнение

о нем.

Клемент, в кожаных тапках и свежевыстиранном халате, наблюдал из-за двери. Выражение его лица было озадаченным.

— Газы, — пояснил я.

10 ноября

Я спалил все волосы на ногах, зато мой живот теперь плоский, как блин. С разговорами о камнях и о том, что меня вскроют, как устрицу, покончено. Пока мою спальню отделывают заново, я посплю в одной из комнат для гостей.

Весь день небо было похоже на сало — по крайней мере, когда я его увидел в одиннадцать утра. Я решил выбраться на улицу для моциона и подзарядить легкие, но откладывал, в напрасной надежде, что выглянет солнце, между тем уже близился вечер, а над миром все так же висела серая вуаль, поэтому я отправился на короткую двадцатиминутную прогулку, а потом вернулся домой. Я взял с собой одну собаку из псарни — гончую по кличке Юлиус, слепую на один глаз, — и, с учетом всех обстоятельств, мы вполне неплохо провели время; Юлиус почти поймал кролика, а я нашел красивую палку. Но когда мы направлялись к Оленьему Парку, нас окутал

туман, густой, как в турецкой бане.

Он был плотнее всего у земли, на высоте до трех футов, так что мы могли плавать в нем, как в неглубоком молочном озере. Это было очень странно и поначалу увлекательно, но, когда огромный дуб, к которому мы направлялись, поглотился туманом, я начал чувствовать себя как в открытом море. Бедного, одноглазого Юлиуса накрыло с головой, так что я, не мешкая, пристегнул поводок, ибо он повадился застывать на месте, и я совершенно уверен, что потерял бы его, если бы он при этом не поднимал такой визг.

Мы достаточно долго бродили по лугам, чтобы мое раздражение сменилось настоящим беспокойством, и подумал, что пора остановиться и принять твердое решение относительно того, куда идти. Мир в тумане потерял свои границы, стал смутным и недостоверным. Я поискал знакомый ориентир — рощицу, забор или ручей — без особого успеха. Со всех сторон начали подкрадываться сумерки, ни один из нас не был одет достаточно тепло для долгих прогулок, но непосредственной опасности не было, как вдруг случилось нечто совершенно невероятное. Безо всякого предупреждения я пошатнулся — очень резко, — словно меня укусила пчела. Как будто крупица сна

шевельнулась во мне — мельчайший осколок далекого прошлого. Какой-то кошмар, преследовавший меня раньше; он начался как простой зуд, но я расчесал его, и мне открылась более чем убедительная картина...

Я в карете с матерью и отцом. На мне дорожная одежда. Это старомодная карета, с жесткими скамейками. Я очень мал, на мне дорожная одежда, и я чувствую запах моря.

Больше в карете я никого не вижу. Думаю, кроме матери, отца и меня, никого нет. Колеса «шикают»; копыта лошадей звучат приглушенно. Мы катимся очень медленно, и в окно я вижу, как летит песок из-под колес.

Мы на каком-то пляже. Точно. Колеса «шикают», потому что мы едем по пляжу.

Крик.

Я слышу крик...

И тут я потерял ее. С этим криком я теряю карету из виду. Я слишком напряженно думаю об этом отдельном крике, и карета исчезает.

Поэтому я пробую другой способ вспоминания. Я задерживаюсь на дорожной одежде, которую носил с такой гордостью. Призываю себя вспомнить запах моря, смотреть на песок, летящий

из-под колес.

И постепенно карета появляется вновь. Медленно поднимается из песка. Тогда...

На мне дорожная одежда. Мать... Отец... вся семья здесь. Крик. Возница кричит лошадям «Тпру!», и песок больше не летит из-под колес. Карета делает остановку, и это огорчает меня, потому что мне нравилось смотреть, как летит песок.

Я слышу, как возница ставит тормоз. Я пугаюсь. Мы не движемся, и это меня пугает.

Отец открывает окно и высовывается наружу. Врывается холодный запах моря. Отец говорит о чем-то с возницей, но я не разбираю их слов. Я слишком мал, и слышу лишь разговор двух взрослых людей, и потому встаю и выглядываю из своего окна туда, где песок больше не летит.

Густой туман поднялся вокруг нас. Туман нас остановил.

И тут я опять теряю ее. Карета ускользает от меня. Ее очень трудно удерживать. Когда поднялся туман, она покинула меня. Тогда я говорю себе думать о голосах. Думать о голосе отца...

И я вновь среди голосов. Их три. Голос отца, возницы и еще один. Я не понимаю, о чем они говорят, но понимаю — что-то не так. Мой отец не злит-

ся. Он молчит и курит трубку. Но я слышу гнев, звенящий в голосе отца, и вижу беспокойство на лице матери. Эти детали... вместе с туманом и остановкой... и всколыхнули во мне страх.

Я чувствую, как он поднимается.

Через минуту он заполнит всю карету...

Потом видение останавливается и пропадает, а я вновь оказываюсь в Оленьем Парке с Юлиусом, в озере тумана.

Я пускаюсь почти бегом, волоча за собой полуслепую собаку. Боюсь, как бы меня не отрезало от дома.

Как странно. Ходьбы до парадной двери меньше пяти минут, а мне страшно, что она недосягаема.

11 ноября

В детстве мне было очень трудно уснуть; меня часто беспокоили сны, в которых меня бросали. Вновь и вновь я просыпался, рыдая во мраке ночи, и вынужден был извлекать из постели свое оробевшее тело и босиком отправляться по коридорам. Казалось, целую вечность я бежал сквозь череду собственных упырей и демонов к святилищу родительской комнаты.

Помню, как налегал на тяжелую дверь и стоял, дрожа, в ночной рубашке на холодном каменном

полу, способный лишь смутно различить их в полумраке, спящих на алтаре своей кровати. И все же что-то удерживало меня от того, чтобы окликнуть их. Возможно, боязнь потревожить во мраке других монстров. Я знаю лишь, что в эти бесконечные мгновения, перед тем как набраться смелости позвать их, я глядел на тела матери и отца и думал про себя: «Далеко от меня... так далеко... они очень, очень далеко».

И это было правдой, они и впрямь были очень далеко, тела их были пусты, разумы блуждали в ином мире. Оба они ускользнули от меня и лежали, обвитые простынями снов. Бок о бок они покачивались на волнах: мать и отец в море сна.

И хотя с течением времени они всегда возвращались ко мне, полусонные, в те минуты, когда я дрожал на их пороге, мне удавалось убедить себя, что на этот раз они ушли навеки. Я прислушивался к их вздохам, вглядывался, дышат ли их тела, пока, наконец, сам страх не выдавливал из меня писк, достаточно громкий, чтобы вернуть их. Тогда один из них мгновенно пробуждался ото сна и говорил:

— Что?.. Что случилось, сынок?

Конечно, это был вопрос, на который я не мог толком ответить. Можно было сказать, что у меня

болит живот или мне нужен стакан воды. Но теперь, когда я старше, мудрее и чуть лучше понимаю себя, я могу ответить правду. «Я проснулся от страшного сна и прибежал сюда, чтобы укрыться», — вот что следовало мне говорить. Или даже: «Я боялся, что вы оба ускользнули от меня».

Этим утром, по дороге к мавзолею, я вспомнил песню, которую мой отец когда-то пел мне и которая называлась (если память мне не изменяет) «Все крылатые созданья» или как-то похоже. Любопытная вещица, где каждый куплет посвящен отдельной пичуге. О полноценном припеве не было и речи, только несколько тактов, где надо было свистеть, подражая стилю птицы из куплета. И потому, спускаясь по черной лестнице и чувствуя, как падает температура вокруг, я заполнял колодец руладами и трелями всех сортов и представлял себя хранителем какого-то подземного птичника.

Обычно я посещаю усыпальницу родителей не чаще двух или трех раз в год, но в последнее время чувствовал растущую потребность вознести молитву в их присутствии. Совершить попытку единения.

Мавзолей был первым, что я распорядился построить. Мне тогда было двадцать два. Теперь

я вижу, что был тогда слишком незрел, чтобы как следует вести хозяйство, но у меня не было выбора. Оба родителя были мертвы, а я был их единственным ребенком. Так что я принял бразды и постарался, чтобы мое управление домом было достойно их памяти. Бодро вставал ранним утром и проводил день, решительно обходя поместье. Прежде всего, я решил построить для них место упокоения как можно величественнее. Иными словами, я сразу взял быка за рога.

Вы входите сквозь огромный деревянный портал, где обитают две дюжины музыкантов — каждый в собственной маленькой нише. Прекрасная партия застывших менестрелей... Трубачи трубят, арфисты щиплют струны и так далее. В самом мавзолее шесть резных колонн подпирают потолок, а их, в свою очередь, поддерживают у основания каменные фигуры. Под одной колонной престарелый богослов читает из открытой книги, под другой обнаженный мальчик дует в морскую раковину. Поначалу они просто очаровывали меня, эти каменные обитатели моего личного подземного мира, но сейчас, когда я спускаюсь, чтобы возложить венок или просто поразмыслить, меня печалят и старик, изучающий все ту же пустую страницу,

и мальчик, все еще не извлекший ни звука из своей раковины.

Крыша заполнена ангелами и херувимами. Когда-то они с кротким видом глядели вниз, на склеп моих родителей, излучая любовь. Но никто не предупредил меня, что воздух там, внизу, очень влажен и что со временем он разъест камень. И теперь херувимы, похоже, созерцают собственные увечья, да и ангелы больше напоминают горгулий, которые скалятся с карнизов дома.

Отделка по всей высоте арок, с такой любовью выполненная резцом каменщика, покрылась выбоинами и щелями уже через год. Статуя длинноволосой девы чудесным образом остается нетронутой атмосферой, но там, где она когда-то протягивала своими тонкими руками цветы и виноград, теперь она предлагает лишь свои груди, а из обоих плеч выдаются только щербатые обрубки. Однажды я спустился вниз и обнаружил, что ее каменные фрукты лежат, расколотые, на земле, как будто она утомилась держать их год за годом и бросила вниз.

Только в прошлом году один из грифонов, который всегда сидел на уступе под потолком без единой жалобы, затеял перепрыгнуть склеп,

чтобы провести время со своим заскорузлым близнецом. Нет сомнений, что он так долго сидел на карачках на своем насесте, что, надеясь покрыть расстояние одним прыжком, обнаружил, что одеревенел от столь долгого сидения, и в итоге вообще едва ли покрыл какое-то расстояние. Он просто упал, ударился об пол и разлетелся вдребезги, по дороге отхватив нос у женщины с младенцем на руках.

Все население этой огромной сырой залы будто бы вернулось с какого-то странного поля боя. Словно здесь госпиталь для расколотых статуй. Каждый месяц пол подметают от края до края, но под ногами всегда хрустит песок.

Этим утром я склонил голову перед изображениями матери и отца, которые лежат рядом точно так же, как они лежали когда-то давно в постели. Каменные ангелы со всех сторон продолжают крошиться, но фигуры родителей остаются нетронутыми, поскольку вырезаны из каррарского мрамора, и раз в две недели горничная чистит их от обломков. Черты их лиц, хоть и сияют глянцем, всего лишь жалкое подобие настоящих. Отец мой в смерти выглядит более озабоченным, чем при жизни. Камень почти смягчил мою мать. Мрамор придает им желтоватый отсвет, как будто они

вырезаны из свечного воска, хотя нет сомнений, что огонь моих родителей давно угас.

Странно, что их лица теперь моложе моего. В их отсутствие их единственный сын состарился. Когда я думаю о них, я всегда смышленый маленький мальчик. Не тот лысый и согбенный старик, которым я стал.

Прочтя молитву за мать и отца, я помолился о себе. Я чувствую, что меня беспокоит это наполовину ожившее воспоминание, этот обломок давнего сна. Нечто из очень далекого прошлого требует моего внимания.

Я спросил родителей: «Что именно я не могу вспомнить?» — но не получил ответа.

Они не говорят. Их губы плотно сомкнуты. Конечно, в конце концов, они и впрямь от меня ускользнули.

12 ноября

Весь день гулял около дома, восстанавливая силы. В области живота все еще немного побаливает. Должно быть, кожа растянулась, пытаясь вместить эти загадочным образом скопившиеся газы. В остальном чувствую себя гораздо лучше, разве что немного устал.

Первым делом принял мятную ванну и оделся в

бархатные брюки и домашнюю куртку. Написал письмо с благодарностью мисс Уиттл из Нортонского Почтового Отделения, от которой я сегодня получил посылку, содержащую банку «Говяжьего Сока». Сопроводительная записка объясняет, что она прослышала о моих «трудностях с желудком» и что «прилагаемая говяжья вытяжка», которая для меня полнейшая новость, «гарантированно излечивает расстроенный кишечник». Дальше она пишет, что ее домочадцы часто применяют эту вытяжку как тонизирующее средство, и от всей души рекомендует мне тоже попробовать.

Странная жестяная баночка, должен сказать. Не более четырех квадратных дюймов, но довольно увесистая. На нижней стороне бирка с печатным текстом...

Этот экстракт состоит исключительно из сока превосходнейшей говядины, извлеченного легким нагреванием, без добавления воды или каких-либо иных субстанций, путем процесса, впервые обнаруженного нами, при содействии признанного светила терапии... принимать холодным.

Похоже, в наши дни ни одно средство не попадает на полку аптекаря без того, чтобы какой-нибудь терапевт, признанный или не очень,

приложил к нему свое имя (конечно же, за неплохое вознаграждение). Каждое бритвенное лезвие, мозольный крем или средство для восстановления волос сегодня несет на себе восторженное личное одобрение какого-нибудь многоуважаемого Эксперта. И все же, как я заметил, многие революционные снадобья, превозносимые на внутренних полосах журналов в одном из номеров, редко появляются там в следующем. Не приходится надеяться, что их производители обанкротились и предстали перед суровым судьей, так что, надо полагать, эти молодчики постоянно перенаправляют свою энергию на другие лекарства, еще целебнее.

Что ни в коей мере не стоит расценивать как неуважение к мисс Уитгл и ее банке говяжьей вытяжки. Свою записку она заключила советом, чтобы я принимал половину банки с разбавленным бренди за ланчем, и, поскольку я питаю глубокое доверие к мнению женщины, я принял решение так и поступить. Время от времени живот все еще урчал и ворчал, и, похоже, этот сок говядины был подходящим средством, чтобы его унять.

Полдень застал меня в столовой, где я нервно поглядывал на банку, лежащую на скатерти. На

упаковке был напечатан странный барельеф, и на время я задумался о том, что закругленный выступ крышки и экзотическая форма могут заставить подумать, что в банке не мясо, но ароматный турецкий табак. Я умудрился потратить таким образом несколько минут, прежде чем приступил к удалению крышки при помощи перочинного ножа. Просунуть нож в щель между крышкой и основанием удалось не без борьбы, а получив точку опоры, я потратил еще больше сил, чтобы разнять их. Нож как будто втуне старался одолеть притяжение вакуума, пока, наконец, крышка не отлетела с мощным хлопком. Под ней оказалась муслиновая обертка, очень липкая на ощупь, а завернув ее края, под толстой пленкой желатина я обнаружил твердый кожистый кубик, похожий на сморщенную карманную библию.

Нож без малейшего труда прошел в эту мясную субстанцию сквозь плотный студень, но, едва он проткнул темную кожицу, омерзительная вонь вырвалась наружу. Все мое тело отпрянуло, как будто меня ударили в грудь, и мне потребовалось немало усилий, чтобы держать банку на расстоянии от себя, пытаясь при этом сохранить равновесие и вернуть разуму способность мыслить. Таким едким и всепроникающим был

этот запах, будто живой зверь возник прямо в моей столовой. Мне пришлось вытирать глаза платком, пока я не пришел в себя, чтобы открыть окна и впустить немного воздуха, пригодного для дыхания.

Я был поражен, и, честно говоря, на меня произвело немалое впечатление, что такой сильнодействующий запах может содержаться в такой крохотной баночке. Я осторожно вернулся к ней и нерешительно заглянул внутрь. «Да кто из живущих будет есть такое?» — подумал я, легонько тыкая говядину вилкой. Структурой она напоминала грязь, налипшую на подкову.

В эту минуту я увидел, как заглядываю в дверь Почтового Отделения и мисс Уиттл спрашивает меня, как подействовало ее средство. Я никогда толком не умел врать. Она раскусит меня с одного взгляда. Мне попросту придется избегать Почтового Отделения месяцев шесть — или даже год. Меньше всего мне хочется оскорбить чувства мисс У., но только дурак высшей пробы засунет в свой организм что-либо, так убедительно напоминающее по запаху живую корову.

Прошло добрых пять или десять минут, прежде чем я, наконец, метнулся к банке, сделал выпад вилкой и заглотил кусок, не разжевывая. Потом

ухватил графин с бренди за тонкое горлышко, хлебнул пару глотков, подождал и хлебнул еще пару.

Должно быть, я сидел на стуле довольно долго, ожидая, что случится дальше. Когда вошла миссис Пледжер, чтобы пригласить к обеду, сомневаюсь, чтобы я пошевелил хоть мускулом; я не был уверен, уютно ли сок говядины чувствует себя внутри или собирается вернуться наружу. Она вошла в комнату, набрала воздуха, чтобы заговорить, затем остановилась с открытым ртом. Ее лицо перекосило от ужаса, отчего брови сдвинулись мостом над переносицей. Она сделала секундную паузу, понюхала воздух уже более пристрастно, глаза ее стрельнули влево и вправо, прежде чем остановить свой испепеляющий взгляд на мне. Затем она развернула свое громадное туловище и вышла, не произнеся ни слова.

С тех пор прошло добрых восемь часов. Слава богу, я все еще жив. И хотя меня немного подташнивает и дыхание мое куда тяжелее обычного, я утешаю себя тем, что, по крайней мере, теперь я с чистой совестью могу предстать перед мисс Уиттл.

18 ноября

Полдня разбирался со счетами и письмами. Накропал записку доктору Коксу, безоговорочно отказавшись оплатить его счет и сообщив ему на чистом английском, что больше не желаю иметь с этим субъектом ничего общего. Вызвал Клемента и велел немедленно отдать записку рассыльному.

Этим утром я узнал из письма преподобного Меллора, что он вел раскопки в пещерах у Кресвелла — на что я, очевидно, дал согласие несколько лет назад — и теперь испрашивает моего разрешения прочесть там лекцию. Вчера я получил слезливое письмо от некоей Сары Свейлс, где она умоляет позволить ей продолжить жить в коттедже после недавней смерти матери. Дал преподобному Меллору разрешение на лекцию (он может устроить там хоть цирк, если сможет протащить животных), а дорогая Сара, которая, как мне сказали, работает в Нортоне, похоже, с чего-то взяла, что я выкину ее на улицу. Конечно, это полный абсурд, и я написал ей, чтобы убедить ее в этом.

Тихо сидеть за своим бюро, возиться с бумагами и перьями — мое величайшее наслаждение. Мне кажется, именно здесь в мою сумасбродную жизнь возвращается хоть немного порядка. Как

мне сказали, это голландское бюро с «цилиндрическим фасадом» — теперь ему уже более ста лет — раньше принадлежало моему отцу, а перед этим — его отцу. В доме, полном древней мебели, которая давно уже принялась оседать и кругом извергать свою набивку, мое бюро — один из немногих предметов, пока еще стоящих прямо.

Практически каждый дюйм его покрыт инкрустацией или шпоном: мозаичный калейдоскоп. Странные птицы и бабочки порхают по его бокам, лозы, усыпанные листвой, ползут по ящикам и свисают с его чрева. Весь он мягко светится от десяти тысяч французских полиролей — десяти тысяч! — так что случайное поглаживание порождает утонченный писк.

Основной его объем составляют три массивных ящика, соблазнительно изогнутых, словно расплавленных на солнце. А когда поднимается ребристая крышка, чтобы исчезнуть в своей узкой полости, пьянящий аромат вырывается наружу — не только чудесное дерево и лаки, но и чернила, карандашные очистки, старые рукописи и переплетный клей. У задней стенки выстроились в ряд сторожевые будки для наклоненных блокнотов, потрепанных писем, маленьких книжек с квитанциями и тому подоб-

ного. Прямо посередине расположен ряд ящиков, шести дюймов в ширину, куда сложены кусочки воска и промокательной бумаги, перья и ручки. Эти пустяковые, но часто нужные мелочи и есть то, что столь непринужденно охраняют мои бумажные часовые.

Золотые петли, ручки и кронштейны холодны на ощупь круглый год. Каждый уголок, накладка и бордюр сделаны из самого лучшего дерева. Помню, один малый сказал, что никогда не видел столько падука[4] на одной вещи. Но когда ваши глаза вдоволь насытились красотой бюро и нос втянул все многообразие составляющих его сложного букета, когда ваши пальцы уж точно облазили каждую впадинку и щелку, все равно останется не меньше дюжины потайных ящичков и отделений, ускользнувших от жадных рук.

Ибо все бюро изрешечено тайниками, которые выдают себя лишь при очень близком знакомстве. Нужно правильно выбрать, на какую панель нажать или какую задвижку повернуть, чтобы открылся вращающийся отсек. Выдвиньте верхний ящик до конца, и откроется другой ящик. Целая группа пружин и рычагов таится в недрах дерева,

---

[4] Примечания: 4

Падук — африканское дерево с ценной древесиной красного или оранжевого цвета

так что ручка одного запора обнаруживает другой, и то, что секунду назад казалось цельным, превращается в крохотную раздвижную дверцу. Все бюро — огромный улей потаенных местечек, которые редко видят божий свет. Впрочем, с таким-то количеством укромных мест, я хотел бы иметь побольше ценностей, которые нужно прятать. Немного старых монет, несколько частных писем и документов рассованы тут и там, но больше ради игры в тайну, чем по требованию необходимости.

Делая эту запись, я несколько раз останавливался, чтобы поглядеть в окно. Окрестности выглядят совершенно пустынными, будто человечество стерто с лица Земли. Теперь, когда деревья стоят голые, я могу далеко смотреть в любом направлении, но куда бы я ни бросил взгляд, нигде, похоже, нет ни души. Вопреки расхожему мнению, что мир зимой замирает, я полагаю, что на самом деле он как раз приходит в движение. В хорошую погоду мы больше склонны остановиться и поболтать, ибо лето по доброте своей позволяет солнцу греть нас, так что мы не спешим перейти от одного дела к другому. Но когда погода холодает и наступают морозы, мы стремимся как можно быстрее вернуться в тепло

и торопимся покинуть пейзаж, отчего он становится уж совершенно скудным и печальным.

21 ноября

Частота стула у меня возвращается к норме, хотя ; испражнение все еще довольно болезненно. Я слышал (или просто вообразил), что употребление куриных яиц может замедлить продвижение пищи и вообще поспособствовать закупорке путей. Поэтому никаких яиц — по крайней мере, две недели — посмотрим, поможет ли это. Позавтракав копченой селедкой, тостами и мармеладом, залитыми столовой ложкой жира из печени трески, я ощутил себя промасленным насквозь. До такой степени, что, сидя в ожидании, чтобы пища улеглась, я чувствовал, что вот-вот соскользну со стула.

Хотя вид у каждого дерева в поместье жалкий и замученный, солнце светит вовсю, и к середине утра я почувствовал, что меня тянет на улицу. Облачился в зеленый двубортный сюртук с меховым воротником и бордовую накидку до колен. У двери выбрал серый широкополый цилиндр, пару лайковых перчаток, кремовый шерстяной шарф и трость.

Я планировал дойти до самого Кресвелла, но не

прошел и ста ярдов от дома, когда испытал некую пугающую дрожь, меня охватившую, будто кто-то наступил на мою могилу. На эту долю секунды я почувствовал себя очень уязвимым, словно подо мной разверзается земля. Ужасное мгновение тревоги, источника которой я не знал. Затем она прошла. Небо было чистым, дул легкий ветерок. Я был в недоумении. Возможно, слишком долго сидел дома.

Неожиданно Кресвелл показался невообразимо далеким, и я изменил маршрут и направился к озеру, предполагая потом пройтись в направлении Уоллинбрука, в надежде, что ходьба немного оживит мое кровообращение. Я достиг озера через несколько минут и постоял на старом причале, глядя на безупречно незыблемую гладь воды. С этой стороны у воды в изобилии стоят конские и обычные каштаны, и я наклонился, чтобы подобрать парочку истлевающих листьев. Их великолепные цвета могли бы доставить мне удовольствие, если бы я не желал так сильно, чтобы они до сих пор оставались на деревьях. Я поднял один к холодному солнцу.

— Ты спрыгнул? — спросил я его.

Его тонкие жилы напоминали карту речных притоков. Я подумал: «У тебя такие же пальцы,

как у меня. Ты просто плоская рука. — И затем: — Дерево — человек со множеством рук».

Я продолжал размышлять, насколько непрактично в один прекрасный год приделать все упавшие листья обратно на деревья, когда шум по соседству разорвал тишину и заставил меня поднять голову.

Из воды выпрыгнула рыба. Серебряная спина сверкнула на солнце. Но прежде чем я успел толком понять, что происходит, она скрылась под водой. Как это шокирующе необычно. Озеро, которое всего минуту назад казалось таким унылым и безжизненным, бросило в воздух рыбу и вновь поглотило ее. Я ошарашенно посмотрел кругом, будто ожидая от кого-то подтверждения. Но я был единственным свидетелем. Рыба прыгала лишь для меня.

От того места, где рыба вернулась в воду — а это, кстати, была довольно крупная рыба, — по масляной глади озера тихо разошлась дюжина кругов. И подобно этой ряби, которая теперь мягко касалась берега, вид летящей рыбы — сама его неожиданность — вновь и вновь приходили мне на ум.

Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, и даже тогда плеск и вспышка

этой рыбы все норовили неожиданно всплыть в моей голове. Я заметил, что поглядываю на воду, смутно ожидая, что рыба выпрыгнет еще раз. Но ничто не шелохнулось. Поверхность вновь было плоской и неподвижной.

Прошло несколько минут, наполненных молчанием озера вперемежку с воспоминаниями о прыгающей рыбе, прежде чем до меня постепенно начал доходить смысл увиденного. Я нашел в кармане клочок бумаги и карандаш и записал свои мысли...

Если рассматривать промежуток между рождением и смертью на фоне вечности, он — кратчайшая из траекторий. Мгновения, когда мы ощущаем шлепок повитухи и когда вновь погружаемся в глубокий, черный пруд, разделяет один лишь вздох. Не успеваем мы взлететь, как чувствуем неумолимую хватку гравитации. Лишь на секунду мы зависаем, трепеща, во всей нашей красе. Наше тело чувствует воздух, холодные глаза жадно вбирают свет. Мы слегка поворачиваемся, будто на вертеле. Потом мы начинаем падать.

Я завершил запись жирной точкой. Еще секунду прислушивался к своим мыслям и обнаружил,

что, судя по всему, ничуть не обеспокоен тем, что записал. Напротив, я почувствовал себя приободренным. Убрал карандаш с бумагой в карман и зашагал к дому.

22 ноября

После ланча меня вдруг начала одолевать апатия, что для меня ничуть не удивительно в это время года. Иногда я задаюсь вопросом, не должны ли люди в темные месяцы впадать в спячку — за компанию с белками.

Мой живот до сих пор не в порядке, и в поясницe весь день ощущалось стеснение, а потому я подумал, что во второй половине дня мне не повредит прогулка.

Уже не в первый раз мне пришло в голову, что осенний воздух может быть для меня вреден. Так что я решил, как и планировал еще вчера, дойти до Кресвелла, но сделать это под землей. Я отказался от зеленого сюртука в пользу светлого пальто и взял меховую муфту вместо перчаток. В остальных отношениях, отправляясь в путь по Западному тоннелю, я был одет практически так же, как и вчера. Карета с Гримшоу и Клементом ехала в двадцати ярдах позади меня. Клемент настоял на своей поездке, взяв с собой одеяла, пе-

ченье и кастрюльку холодного рисового пудинга, в случае если по дороге мне понадобится пища.

Прогулка была великолепна. Я не изучал тоннели так близко с тех пор, как они были закончены, и, должен сказать, остался очень доволен тем, что увидел. Кирпичная кладка просто потрясающая, а Западный тоннель — прямой, как стрела. Проблема, которую ни мистер Бёрд, ни я не предусмотрели, состояла в том, что некоторые световые люки оказались завалены сверху опавшей листвой. Я отметил про себя, что, как только мы вернемся, надо послать людей расчистить все люки.

В целом, направляясь под землей к деревне, я чувствовал себя вполне бодро и весело, а потому устроил небольшой сеанс пения, начав с «Джонни Сэндза» — своей любимой, — а затем продолжив несколькими повторами «Мне девяносто девять». Множественное эхо сперва мешало моему исполнению и заставляло меня сбиваться, но затем я смог приноровиться и включить его в свое пение, так что вскоре я, в некотором роде, пел дуэтом сам с собой. Я разбил песню на куски, строчка за строчкой — одно созвучие осторожно положено поверх другого, пока, наконец, весь тоннель не зазвенел хором моих голосов. Я пел ведущую

партию и партию альта, попробовал дискант и глубокий, с придыханием, бас. Как военный, я маршировал, прочищая легкие, и пару раз мне удалось изобразить даже некое подобие сопрано.

Не заметил, как дошел до Кресвелла. Выйдя из тоннеля, я был буквально ослеплен солнцем, а от легкого ветерка моя кожа покрылась мурашками. Миссис Дигби развешивала белье, и я, приподняв шляпу, спросил, как поживают ее кошки. К тому времени, когда карета появилась из тоннеля и остановилась рядом со мной, наша болтовня подходила к концу, и я пытался вспомнить, почему Кресвелл казался мне таким привлекательным. Не найдя удовлетворительного ответа, я тут же отменил оставшуюся часть экспедиции. Развернулся, помахал на прощание миссис Дигби, и, проходя в ворота тоннеля, начал следующий сеанс пения.

Возвращаясь домой, пел в основном баллады — отцовскую птичью песню и старую матросскую хоровую. Большую часть слов матросской песни я подзабыл и был вынужден подбирать на замену свои собственные. Забавлялся мыслью о коровах наверху, лениво жующих в пустом поле, в то время как из-под земли доносится голос какого-то старика, вопящий о бушующих волнах и охоте на

огромную белуху.

В общем, вполне удовлетворительный день. Уверен, сегодня я буду спать крепче некуда. Хотя кое-что меня беспокоило. Когда я оглядываюсь на события прошедшего дня и представляю, как шагаю по тоннелю, мне кажется, что я был не один. Такое ощущение, что... как бы это сказать... что кто-то меня сопровождал. Возможно, не вполне видимый, но все-таки кто-то был.

Некто очень юный — это все, что приходит мне в голову. Некто юный, кто просто находится рядом.

Я часто интересовался — тот малый, с которым я веду беседу, когда сам с собой обсуждаю какой-то вопрос, — он внутри меня или снаружи? Может, это как раз он и есть? Больше того, теперь, когда он привлек мое внимание, я начинаю думать, что он со мной уже очень давно.

24 ноября

Что ни говори, еще не совсем поправился. Недомогание то появляется, то исчезает. Обтерся банным полотенцем без ванны, чтобы взбодриться (мой отец называл это «шотландской ванной»), но мне удалось лишь добавить к своему списку хворей изнеможение. Боль, что на прошлой

неделе определенно можно было счесть острой, теперь стала скорее пульсирующей. Очень странно — похоже, чертова штука смещается. Я уверен, что сегодня она во мне глубже и ближе к ребрам.

За обедом, когда я только что доел превосходный суп из бычьего хвоста и жевал кусок хлеба, мои зубы сомкнулись на чем-то, что я не смог прокусить. «Кусок хряща?» — подумал я, ощупывая его языком. Вещество приютилось у меня между зубов. Тогда большим и указательным пальцем я выудил его, и при ближайшем рассмотрении оно оказалось туго скрученной бумажкой.

— Бумага в моем хлебе, — сказал я.

Потребовалось немало усердия, чтобы развернуть этот клочок, размеры которого, когда я разгладил его на столе, оказались примерно полдюйма на два. Я с трудом разглядел на нем некое подобие сообщения, написанное карандашом. Бумага была сырой от недолгого пребывания во рту, но, со временем, мне удалось разобрать следующие слова:

> ...ибо хлеб, который мы едим, — один хлеб, и вино, которое мы пьем...

Что ж, это ровно ни о чем мне не говорило — ни единой зацепки, — и вскоре я пришел к

выводу, что это, должно быть, часть более длинного повествования. Говоря начистоту, все это не на шутку меня встревожило, отчасти благодаря напыщенности текста. Кто-то посылает мне сообщения, подумал я. Сообщения, связанные с хлебом и вином. А если я владел лишь фрагментом того, что было гораздо более длинным трактатом, кто мог поручиться, что я не проглотил оставшуюся часть, которая, несомненно, еще сильнее расстроила бы мое пищеварение? Я вызвал миссис Пледжер.

— Миссис Пледжер, — объяснил я спокойно, — я нашел в своем хлебе несколько слов.

Выслушав изложение ситуации, она попросила разрешения взглянуть на клочок бумаги. Глаза ее скользнули по надписи, и она с пониманием кивнула.

— Игнациус Пик, — сказала она.

Это имя было мне незнакомо. В воображении возникла зазубренная горная вершина. Но, как сообщила мне миссис Пледжер, Игнациус Пик работает в нашей пекарне. Затем, понизив голос до шепота, она сказала, что считает его «излишне набожным человеком».

Двадцать минут спустя он стоял передо мной в кабинете, все еще одетый в фартук и белый

колпак и весь обсыпанный мукой, как будто его забыли в погребе. Парню явно недоставало силы, которая чувствовалась в его имени. Он стоял, не говоря ни слова. Думаю, я ожидал услышать его извинения без дополнительных подсказок. Он был человеком некрупным, с аккуратными бакенбардами, но когда он говорил, Господь просто переполнял его.

— Полагаю, это вы поместили слова в мой хлеб, мистер Пик.

— Не просто слова, Ваша Светлость, а духовные слова. Они из Библии, а это значит, они священны. Это святые слова, Ваша Светлость.

Пока он говорил, его короткие руки махали во все стороны, отчего легкие лавины муки соскальзывали с его куртки и оседали на полу.

— А почему эти святые слова оказались в моем хлебе, мистер Пик? — спросил я.

— Ну, понимаете, — сказал он, уставившись вдаль, — стало быть, этим утром, когда я занимался выпечкой, меня посетило неожиданное вдохновение так сделать, сэр. Иногда так случается... вдохновение нести Слово Божье.

Это привело меня в некоторое замешательство. Он улыбнулся самой блаженной улыбкой, что нисколько не исправило положение.

— Только в моем хлебе, мистер Пик, или во всем хлебе?

— Да нет, во всем, Ваша Светлость. Во всех буханках, что под руку подвернулись.

Он вытянул обе руки, насколько смог, так что маленькие запястья выдавались из манжет его куртки, и замахал руками взад-вперед, чтобы привлечь мое внимание к акрам и акрам святого хлеба. В течение нашей беседы *он часто прибегал к жестикуляции, будто проповедовал с высокого амвона. Раз или два он даже сжал кулаки и воздел их над головой, как будто призывая собственные громы и молнии. Как бы то ни было, похоже, эти величественные жесты мало соотносились с теми словами, что с шумом вылетали у него изо рта.

— Что за цитату я только что нашел у себя во рту? — спросил я и передал ему клочок бумаги.

Он едва взглянул на него, вознес голову обратно на плечи, обратил глаза горе и обратился к потолку таким зловещим тоном, что у меня волосы встали дыбом.

— «Мы соединяемся в едином мистическом теле и возглашаем об этом, во имя братства через таинство причастия; ибо хлеб, который мы едим, — один хлеб, и вино, которое пьем, — одно вино,

хотя бы хлеб состоял из многих зерен пшеницы, и вино из многих отдельных ягод...» Первое к Коринфянам, десять, семнадцать.[5].

Все это время его глаза оставались плотно закрытыми, зато руки беспорядочно махали во все стороны и продолжали махать еще несколько секунд после окончания декламации. Затем, совершенно неожиданно, они ринулись вниз, как будто их подбили, и театрально хлопнули своего хозяина по бокам, выбив из них два новых облачка муки.

— И что это означает? — спросил я его.

— Братство во Христе, Ваша Светлость, — ответил он.

Я немного поразмыслил над этим под пристальным взглядом своего пекаря. Затем я спросил, не горят ли его бумажки в печи, но он ответил, что на самом деле вставлял цитаты после того, как буханки были выпечены.

— Я просто проковыриваю дырочки шпателем и запихиваю их внутрь.

Я кивнул ему, испытывая некоторое затруднение. Вообще-то я вызвал мистера Пика, чтобы отчитать его, но никак не мог найти подходящее

---

[5] Примечания: 5

Вольный парафраз: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»

для этого основание.

— Вы не боитесь, что кто-нибудь может подавиться? — спросил я, с некоторой надеждой полагая, что, если мне удастся обнаружить в нем хотя бы крупицу вины, мне, по крайней мере, будет с чего начать.

— Пока никто не подавился, сэр, — сказал он с улыбкой. — Цитаты все-таки короткие.

— И вы всегда используете цитаты, связанные с хлебом?

— В основном, сэр. Да, именно так, сэр... Почему-то это кажется правильным.

Я согласился. Я совершенно не представлял, что делать с этим парнем. Очевидно, он не сделал ничего особенно дурного (или, что существеннее, ничего, что он считал бы дурным). У меня вырвался тяжкий вздох. Боль в грудной клетке продолжала меня терзать. Вдруг у меня возникла блажь спросить:

— Вы случайно не занимаетесь исцелением, мистер Пик?

Он поглядел на меня и снова завел свое:

— Господь исцеляет, сэр. «Да не узрят очами, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»[6].

---

[6] Примечания: 6
Исайя, 6:10

— Да, разумеется. Но я ищу телесного исцеления, мистер Пик, а не духовного.

— Он и тело исцеляет, Ваша Светлость. «Исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь»[7].

На мгновение он умолк, и я почувствовал, как глубокое отчаяние овладевает мной. Вот человек, который полностью счастлив, погруженный в свою веру. Он знал ее (или, по крайней мере, ее терминологию) как свои пять пальцев и, кажется, не имел сомнений относительно мира и своего места в нем. Это повергло меня в немалое уныние. Наверное, потому, что я завидовал ему больше, чем любому из тех, кого когда-либо встречал. Он стоял передо мной, опустив голову, — уверен, выуживал из памяти другую, еще более впечатляющую цитату из Слова Божьего. Наконец он посмотрел на меня и спросил:

— Вы когда-нибудь виделись с Дубли, сэр?

Ну, если имя пекаря напоминало горную вершину, «Дубли» напомнило мне гряду низких холмов, вроде Малвернских, или другую плодородную местность. Но, как сообщил мне Игнациус Пик, на самом деле Дубли — это фамилия двух сестер, которые живут в Уитвелле и, говорят,

---

[7] Примечания: 7
Иеремия, 30:17

обладают редким даром «видеть человека насквозь».

— Вам нездоровится, Ваша Светлость? — спросил он меня.

Я сказал, что, вероятно, так и есть.

— Ну, тогда, к ним-то вам и надо. Эти дамы — лучшие по диагнозам во всем графстве. Любому диагноз поставят, даже когда другие не могут.

Тогда я поблагодарил его и пожелал удачи с цитатами. Потом поделился с ним запоздалой мыслью, посоветовав подумать, нельзя ли привязывать их к буханкам бечевкой. Таким образом, они бы оставались в сохранности, и получатели не рисковали бы проглотить их, не читая.

— О нет, сэр. Так толку не будет. Понимаете, неожиданная находка — как раз то, что заставляет грешника остановиться и подумать. Вот как мы можемего спасти.

— Понимаю, — сказал я.

Он широко улыбнулся, живо кивнул мне и зашагал к двери.

Через пару секунд после его ухода, раздумывая, не разыскать ли мне тех странных сестер, я заметил на ковре, там, где стоял мистер Пик, два аккуратных следа в маленькой кучке муки.

25 ноября

Сразу после завтрака отправил Клемента к сестрам Дубли, и к десяти утра он вернулся с новостями, сообщив, что те будут рады принять меня сегодня днем. Обе стороны договорились о приемлемой цене, и к двум часам мы уже покинули Северо-Западный тоннель и ехали через деревню Уитвелл. Мы специально взяли пролетку, чтобы преодолеть крутой холм, но вскоре, несмотря на усилия Гримшоу, лошади почти перестали двигаться, и последние несколько сотен ярдов нам с Клементом пришлось идти пешком.

Я почти не чувствовал тупой пульсации, притаившейся в грудной клетке, и начал волноваться, что заявлюсь к Дубли, не имея за душой вообще никакой хвори. Но когда мы достигли вершины холма и остановились, чтобы полюбоваться холодным пейзажем Ноттингемшира, простиравшегося внизу, пульсация неожиданно вернулась, и я наслаждался видом со странным облегчением оттого, что вновь обрел свое недомогание.

То немногое, что я знал об этих Дубли, я почерпнул от мистера Пика — а именно, что они сестры, средних лет, известны тем, что обладают странными духовными способностями, которые позволяют им заглядывать внутрь людей. Говорят, они могут наблюдать работающий орган,

как будто он лежит и подрагивает перед ними на блюдце. Пока мы стояли, обозревая поля и леса, я спросил у Клемента, как он относится к подобным заявлениям о мистических способностях, но он вежливо уклонился от комментария. Должен сказать, что его неусыпная дипломатичность порой раздражает до последней крайности.

Через пять минут мы прибыли к Дубли, и Клемент ушел пить чай вместе с Гримшоу, чья кузина живет неподалеку, а я очутился перед скромным каменным домиком на вершине холма, с заросшим садом и чудесным видом вокруг. Постучав в дверь, я заметил, что все шторы опущены, и подумал, не предаются ли сестры послеобеденному сну. Затем я услышал, как гремит задвижка, и дверь распахнулась, обнаружив двух великолепных женщин — на исходе четвертого десятка, надо полагать, — с черными, как смоль, волосами до плеч; на обеих были накрахмаленные белые фартуки. Мистер Пик не упомянул, что на самом деле они были близнецами и вместе представляли поразительное зрелище. Их сходство не было идеально, но тем не менее они были сделаны из одного теста.

Первая подняла брови и улыбнулась. Вторая прошептала:

— Входите, сделайте милость.

Меня препроводили в гостиную — в комнату, где все занавеси были задернуты. Она была очень тесной, с таким низким потолком, что он почти задевал головы двух леди. Единственным украшением были две картины в рамках, стоящие на каминной полке, — одна изображала коричное яблоко в разрезе, другая — тот же плод, висящий на ветке. Я согласился выпить чаю, и несколько минут спустя мы втроем сидели вокруг стола, и только звон и дребезжание наших чашек и блюдец нарушало растущую тишину. Я подумал, что должен начать вежливую беседу.

— Я и сам выращиваю яблоки, — радостно объявил я, кивая в сторону картин. Но сестры лишь едва заметно улыбнулись и продолжали потягивать чай.

После некоторого молчания я выразил восхищение их чаем, сказав, что он «действительно превосходен». Но мои слова, похоже, даже не были услышаны, ибо женщины продолжали неотрывно глядеть на столешницу, очевидно, погруженные в какое-то глубокое и безмолвное общение.

Я подумывал, на какой бы еще пустяк мне следовало обратить их внимание (может, на погоду

или на скатерть), когда без малейшего уведомления обе одновременно встали со стульев.

Одна сказала:

— Соблаговолите последовать за нами, Ваша Светлость.

Я поставил чашку на блюдце довольно торопливо, задев в процессе ложку и устроив целое представление; к этому времени обе сестры уже были у двери и ласково манили меня в соседнюю комнату.

Здесь, как и в гостиной, тяжелые шторы не пропускали солнечный свет. Вся комната освещалась двумя лампами под потолком, которые вместе источали немало теплого янтарного света. Двое напольных часов стояли друг напротив друга и обменивались секундами, словно теннисным мячом. Обе сестры терпеливо ждали меня у двери, стоя так неподвижно и тихо, что, когда я вошел, мне показалось, что в этой теплой уютной комнате шевелятся лишь маятники в часах. Сам воздух был какой-то медлительный и тягучий, так что я не на шутку встревожился. Как будто меня пригласили прыгнуть в очень глубокий пруд. Дыхание мое участилось, голова начала кружиться.

Одна из сестер взяла меня за руку. Другая про-

изнесла:

— Все хорошо, правда?

После этого, надо признать, весь мой страх испарился, я только испытывал смущение из-за капелек пота на лбу. Могу лишь предположить, что на мгновение проявился какой-то животный инстинкт, внушив мне безотчетное стремление бежать отсюда. Но сестры распознали мою тревогу и тут же усмирили ее. Они сказали: «Все хорошо, правда?» — и я, как дитя, тут же поверил, что все и впрямь хорошо.

Одна из сестер помогла мне снять сюртук, другая попросила задрать рубашку. И вот я стоял посреди сладостно-теплой комнаты, задрав рубашку на грудь.

Сестры начали медленно кружить вокруг меня. Часы тикали на два голоса. Каждый взмах маятника отрезал еще дольку времени. Одни спрашивали, другие отвечали.

«Какой странный мирок», — подумал я, чувствуя, словно всплываю из воды. Я становился все спокойнее, пока годы моей жизни, один за другим, соскальзывали с меня, и где-то глубоко-глубоко во мне детский голос шепнул: «У меня болит животик».

— Где болит, Ваша Светлость? — спросила

сестра.

Я прикоснулся к животу, сразу под ребрами. Надавил, чтобы показать, как глубоко сидит боль. Тогда одна из сестер взяла мою руку, отвела ее в сторону и расположилась прямо передо мной. Она застыла на месте и уставилась на меня. Вторая разместилась сзади. Медленно катились секунды, близнецы не спускали с меня глаз, и я чувствовал, что покачиваюсь на долю дюйма из стороны в сторону. Но я нисколько не боялся упасть, поскольку был крепко пригвожден могущественным взглядом сестер.

Теперь комната погрузилась в абсолютную тишину. Та сестра, что была спереди, кивнула, вторая согласно хмыкнула сзади. Все вокруг купалось в необычайнейшей атмосфере. Повсюду двигались невидимые течения. И я вдруг с приятным изумлением понял, что на самом деле сестры наблюдают чай внутри меня. Следят, как он постепенно прокладывает себе путь. Они дали мне выпить чашку чая и теперь смотрели, как мои органы с ним справляются.

Их проницательные глаза меня ничуть не беспокоили. К тому же впервые в жизни я спокойно осознавал независимое существование каждого органа, занятого своим делом. Кивки сестер, их

тихие «мм» и «а» носились взад-вперед, а я клевал носом и рассматривал восхитительную красноту своих век. И постепенно я представил себе во всех деталях... мою печень, мое сердце, мои легкие. Я не имел понятия, какого они цвета и размера, какие трубы их соединяли. Не знал, что не дает им соскользнуть со своих отдельных полок. Однако теперь они были не бездушными, безымянными сущностями, но личностями со своим характером и важными обязанностями. Рыбы... вот кем они мне казались. Рыбы, обжившие разные глубины моего пруда. Как форель, которую я видел однажды спящей под водой у камня, они легонько раздувались и сокращались внутри меня.

— Вот и все, Ваша Светлость, — прошептала одна из сестер.

Неожиданно комната вновь наполнилась тиканьем часов.

Теперь обе сестры стояли передо мной. Понадобилось время, чтобы я пришел в себя. И когда мои ноги вновь почувствовали под собой землю, одна из сестер показывала на дверь. Другая улыбалась.

— Пойдемте? — сказала она.

Следуя за ними и заправляя на ходу рубашку, я заметил, что мои десны болят, как это бывает,

когда я засну днем. Мы все заняли свои места вокруг стола, и обе сестры посмотрели на меня.

— Если вы не возражаете, я предпочел бы перейти прямо к делу, — сказал я. — Что именно вы видели?

Они переглянулись, чтобы решить, кто из них будет говорить.

— Вы ели говядину, — сказала одна. То было скорее утверждение, чем вопрос.

Я подумал пару секунд и залопотал: —Да. Я... Сок говядины... ел. Совершенно непотребный этот сок.

— Говядина вам не годится, — сказала сестра.

— Господи, еще и бычий хвост, — продолжил я в возбуждении. — Только вчера был суп из бычьего хвоста.

— Говядина вам не годится, — повторила она. На этот раз я расслышал ее и согласился:

— Очень хорошо. С этой минуты в рот не возьму говядины.

Затем они вновь обменялись многозначительными взглядами, и другая сестра сказала, еще тише:

— Сразу как вы вошли... мы заметили... — Я кивнул ей, и она продолжила: — Мы заметили, что ваша аура не в порядке.

Честно скажу, это меня просто подкосило. Я не имел ни малейшего понятия, где у меня аура. До сих пор я даже не знал, что она вообще у меня есть.

— Это свет, который исходит от человека, — сказала другая сестра. — В вашем есть изъян.

Можете себе представить, насколько огорчительной была эта новость. Кому нужна аура с изъяном?

— И как мне прикажете ее восстановить? — спросил я.

— Возможно, вам чего-то не хватает, — сказала молчаливая сестра. — Вы должны сами заняться поисками пробела и заполнить его.

Я рассчитался с ними в коридоре, пожал им руки и поблагодарил за потраченное время. Когда они открыли дверь, прихожую залил дневной свет. На пару мгновений я задержался на пороге.

— Простите, — сказал я, — если не возражаете, я хотел бы спросить... что именно вы видите, глядя на человека?

— Мы видим его внутренности, — сказала одна.

— Видим, как он устроен, — добавила вторая.

Клемент встретил меня у садовых ворот и проводил к карете.

— Они не шарлатаны, Клемент. Правда, — сообщил я ему. — Они видели сок говядины.

Клемент одобрительно кивнул, и мы направились вниз по склону. Один раз я обернулся посмотреть на домик сестер, и мне показалось, что я разглядел бледное лицо между бархатных занавесок, но, взглянув еще раз секунду спустя, никого не увидел.

26 ноября

Много лет назад, когда я все еще вел светскую жизнь, пил бренди и курил сигары, от своего друга, доброго лорда Гэлвея, я услышал прелестнейший анекдот.

Мы сидели, глядя на угли, пылающие в камине, пытаясь прийти к согласию с только что уписанным чудовищным обедом, и он рассказывал мне о своем старинном приятеле, который подскочил к нему на каком-то приеме прошлой весной с «расчудесными новостями». И правда, новости были хорошие, ибо после долгих лет бесплодия его жена только что узнала, что беременна; неудивительно, что друг лорда Гэлвея сиял как медный грош, и не в последнюю очередь потому, что наконец-то у него мог родиться сын, который однажды унаследовал бы все его дела.

Несколько месяцев после этих радостных известий лорд Гэлвей был очень занят, а когда снова встретил своего приятеля, он сразу заметил, что тот выглядит ужасно хмурым. Опасаясь, что его жена, возможно, потеряла ребенка, Гэлвей решил, по его собственным словам, «проявить дипломатичность» и поддерживал светскую беседу, пока приятель сам не заговорил о том, что его беспокоило. Оказалось, он волновался за душевное состояние жены, даже опасался, что она уже на полпути к безумию. Лорд Гэлвей стал еще осторожнее — судя по мрачному выражению лица приятеля, он поступил мудро, — но понемногу удалось выудить из парня, что к чему.

Выяснилось, что жена приятеля постоянно... ела уголь. Сперва он обнаружил ее в своем кабинете — она сидела под столом и сосала маленький обломочек. Несколько дней спустя, за ланчем, он заметил кусочек, который она спрятала в платке и теперь крошила в суп. Шли недели, и он находил уголь по всему дому: подоткнутый под шарф, завернутый в шелковые платки, он оказался даже в ее лучшей шляпке. Ночью, когда гасили свет, он слышал, как она причмокивает под одеялом, потому что и в наволочке она хранила уголь, который сосала, прежде чем заснуть. Разумеется,

утром простыни были грязными, а ее губы и язык — черными как смоль.

И все это огорчало ее мужа до невозможности. Он орал на нее и топал ногами, отбирал каждую найденную крошку. Он запретил ей близко подходить к углю и сделал тюремщиков из своих слуг, но, конечно же, не мог следить за ней целый день и прекрасно знал, что стоит ему отвернуться, как она украдкой бежала в подвал за новой порцией.

Остается лишь пожалеть, что старый приятель Гэлвея так долго скрывал свои опасения касательно помешательства своей жены, ибо если бы он поделился ими раньше, то скорее всего давно бы успокоился. Потому что Гэлвей — человек бывалый и слышал, что женщина, которая носит ребенка, подвержена целому ряду внутренних изменений, которые, в некоторых случаях, приводят к самым нелогичным и сильным потребностям. Существует предположение, что тяга к углю — случай на самом деле далеко не редкий — может оказаться не чем иным, как потребностью будущей матери в железе.

В общем, лорд Гэлвей немедленно сообщил все эти сведения своему приятелю, который умчался, как на крыльях, избавленный от тяжести на сердце. Несколько месяцев спустя его жена родила

чудесного мальчика, ее страсть к углю исчезла так же быстро, как и появилась, и с прошествием лет ее муж с облегчением отметил, что их ребенок не унаследовал этой привычки.

Думаю, несколько месяцев назад, когда я гулял в парке около дома, эта история все еще копошилась в моей памяти. Было прекрасное утро — в июне или в июле, и солнце щедро дарило свое тепло. Бригада рабочих под управлением мистера Бёрда сооружала новый мост через озеро, а поскольку стояла жара, и воздух был влажный, некоторые парни разделись до пояса. Я уже поздоровался с мистером Бёрдом и собрался спокойно пройти мимо, когда один из рабочих отвернулся вытереть пот с лица, и я заметил, что на его спине наколота огромная карта Ирландии.

Она была лилово-красного цвета и простиралась от плеч до самого пояса. Разумеется, во мне сразу проснулся картограф-любитель, и я поспешил разглядеть ее. Подойдя ближе, я заметил, что карта-татуировка каким-то образом получилась объемной, чем, сказать по правде, я был немало озадачен, и лишь в паре ярдов от этого малого понял, что на самом деле на его спине большая короста.

Он, должно быть, заметил, что я слегка от-

шатнулся, ибо, хоть я не произнес ни слова, он пояснил как ни в чем не бывало:

— Псориаз, сэр.

— Псориаз, — беззвучно повторил я.

К счастью, он оказался сообразительным парнем и заметил, что я не понимаю, о чем речь, добавил:

— Это кожное заболевание, Ваша Светлость.

— Ага, — сказал я и придвинулся поближе.

Должен заметить, он был весьма любезен и нисколько не возражал, чтобы я изучил его великолепную коросту. Она была практически цельной; ее поверхность напоминала подгоревшее варенье. Вдоль побережья короста, которая все еще здорово напоминала Ирландию, немного шелушилась и в нескольких местах отставала от кожи. Помню, мне пришло в голову, что было бы здорово запустить пальцы под эту штуку и оторвать ее целиком. К счастью, мне удалось сдержать этот порыв, потому что парнем он был крепким, привык махать кайлом, и я уверен, он бы не на шутку разозлился, сделай я что-нибудь с его коростой.

Я спросил его, всегда ли короста напоминала Ирландию или когда-то была похожа на другие страны мира, и он ответил, что хотя короста

постоянно перемешалась — то расползаясь, то сжимаясь, — ее сходство с картой какой-нибудь страны, говоря начистоту, никогда не приходило ему в голову.

И все же наша встреча показалась мне крайне увлекательной. Я дал славному малому шесть пенсов, поблагодарил его за потраченное время и уже собирался уходить, когда у меня возник еще один вопрос.

— Да, интересно... — сказал я. — А как вы его лечите?

И вновь, нимало не тушуясь, он рассказал мне, что врач недавно порекомендовал ему как можно чаще держать коросту на солнце, потому-то он сегодня и снял рубашку.

Не успел я переварить эти сведения, как он добавил:

— И угольный деготь, сэр.

Так вот, как я уже говорил, наверное, где-то в глубине моего сознания все еще находилась жена приятеля лорда Гэлвея, поедающая уголь, потому что, прежде чем я собрался с мыслями, слова «вы что, пьете деготь?» сорвались у меня с языка — да так громко и отчетливо, что парни, которые уже вернулись к своим делам, снова прекратили работу и уставились на нас.

Детина окинул меня холодным взглядом; его глаза сузились до двух щелочек. Голос его зазвучал так, словно он обращается к отсталому ребенку.

— Не пью, сэр. На спину мажу.

При моих обстоятельствах эту ошибку было нетрудно сделать, но совершенно невозможно объяснить.

— Конечно, конечно, — сказал я. Затем пожелал ему доброго дня и поспешил унести ноги.

Я знаю, это один из тех случаев, которые будут преследовать меня долгие годы. (Когда я был ребенком, я использовал семена сушеного шиповника в качестве «чесоточного порошка», но поскольку других детей рядом не было, я сыпал его себе же за шиворот. Упоминаю об этом потому, что оба ощущения кажутся мне в чем-то похожими.)

Нет сомнений, что пока я сижу и пишу об этой неловкой ситуации, тот самый рабочий держит речь в ближайшей пивной, рассказывая всем присутствующим о безумном старом Герцоге, который предложил выпить дегтю для исцеления псориаза.

27 ноября

Приняв совет сестер Дубли близко к сердцу, я распорядился, чтобы отныне и впредь говядину из моего рациона исключили. Миссис Пледжер оказалась на высоте и к ланчу преподнесла мне восхитительную котлету из сыра и спаржи, которая буквально таяла у меня во рту. Котлета — около шести дюймов в длину, в аппетитной панировке — сопровождалась морковкой в меду и легкой острой подливкой. Вечером, как я узнал, будет омар под острым соусом. Думаю, с такими успехами обойтись без ужасающей говядины будет проще простого. Остается надеяться, что улучшение не заставит себя ждать.

А вот с восстановлением моей поврежденной «ауры» могут возникнуть затруднения. Описание, данное сестрами, приводит на ум нечто вроде теплого света вокруг лампы. Думаю, это хороший образ. Теплый свет — как раз то, что нужно. Но когда я пытаюсь представить этот свет «с изъяном» или испорченным, передо мной возникает проблема. Если бы меня попросили представить ауру в виде плаща, к примеру, дело было бы в шляпе. Плащ — ну, скажем, большой твидовый редингот — продрался в каком-то месте. Скажем, я зацепился им за гвоздь. Очевидно, это значит, что мне потребно взять нитку с иголкой и зашто-

пать его там, где он разорван. Но свет — с какой стороны приступить к латанию дыры в свете?

Я настойчиво пытался разрешить эту проблему, но так ни к чему и не пришел, постоянно колеблясь между теплым светом в одной руке и редингото в другой.

Я совершенно уверен, что зловредный кулачок, в последнее время сидевший во мне под самой грудной клеткой, снова пустился в путь. Он выше, чем был раньше, и, похоже, сворачивает к позвоночнику. Поскольку мои легкие всегда были подвержены инфекции, я боюсь, как бы она не добралась до них и не явилась причиной скверного кашля, так что вчера вечером я попросил Клемента зажечь камфарную свечу, чтобы не дать треклятой штуке высунуть нос, и когда я проснулся, то сразу почувствовал, что она унюхала камфару и затаилась, поджав хвост. Я прихожу к выводу, что зло это жестоко и вероломно, но трусливо; оно все еще направляется к северу, но другой дорогой.

Во второй половине дня получил еще одно снадобье, на этот раз от преподобного Меллора. Убежденный, что я страдаю от «ревматизма», он включил в свою записку рецепт и настаивает,

чтобы я им воспользовался. Рецепт достался ему от свояченицы из Уитби, где рыбаки, похоже, принимают это средство всю зиму напролет. Рецепт следующий:

Минеральная сера
корень ревеня толченое железное дерево
толченая селитра ...каждого по четверти унции,
скатать в пилюли по 6 гран ...
принимать по две каждый вечер перед сном.

Вообще-то, судя по составу, смесь больше похожа на порох, чем на какое-либо лекарство, но я все же исправно послал мальчишку ее приготовить. Когда он вернулся, с гордостью демонстрируя шарики, лежащие на тарелке, они напоминали маленькие пушечные ядрышки — выщербленные и опасные. Я велел поставить их на прикроватный столик. Если вечером у меня достанет храбрости, я выстрелю в себя парочкой.

Я готов признать себя старым, скрипучим и нашпигованным бессчетными судорогами и безымянными спазмами, но я уверен, что страдаю не от простого ревматизма. Это слово просто

не подходит.

После обеда, сидя за своим бюро, согреваемый пылающим камином, я вдруг заинтересовался, каким образом новости о моем плохом самочувствии дошли до преподобного Меллора. Я определенно не упоминал об этом в письме, и, насколько я знаю, он не посещал моего дома.

Не правда ли, строить догадки о том, как разносятся вести, — увлекательное занятие. Возможно, мисс Уиттл из Почтового Отделения при случае, может, распространяет не только марки, но никто не стал бы всерьез подозревать в ней деревенскую сплетницу. И все же готов поспорить, что есть какая-то хитрая связь между мисс Уиттл и преподобным Меллором, по которой бодро прискакали новости о моем пошатнувшемся здоровье. Может, Его Преподобие зашел в Почтовое Отделение и случайно меня упомянул. Тогда мисс Уиттл могла ответить, что отправила мне банку говяжьего экстракта, прослышав, что я плохо себя чувствую. Но это приводит меня к другому вопросу. Откуда сама мисс Уиттл получила эти сведения? Кто рассказал ей?

Ну, знаете, у меня несколько дюжин работников, по всему поместью. Полагаю, нет ничего невероятного, если в один из дней, когда не особо

много работы, двое из них обменяются новостями, в том числе — о здоровье хозяина. В этом нет злого умысла; люди просто болтают о том о сем. И если вся эта цепочка приводит к тому, что пара знакомых проявляет участие, присылая мне лекарства, полагаю, мне следует быть только польщенным и благодарным. Правда, иной раз мне доводилось подслушать разговоры, участниками которых двигала не доброжелательность, а глубочайшая неприязнь. Ничто в этом мире не движется и вполовину так быстро, как слух с привкусом скандала. Не каждый ли из нас бывал иной раз виновен в повторении слов, которые лучше было бы оставить при себе. Однако для некоторых людей вести о чужом несчастье — будь они настоящими или чисто умозрительными — хлеб насущный, и ничто не радует их больше, чем расточать свои дни, дуя в эту дудку.

Только что я попытался нарисовать карту, на которой можно проложить маршрут какого-нибудь любопытного известия. Используя в качестве примера свою болезнь, я начал с того, что написал имя мисс Уиттл с одного края, а преподобного Меллора — с другого. Я прикинул, что могло потребоваться двое или трое людей между ними, чтобы неосознанно послужить ступень-

ками для новостей. Но не успел я налюбоваться своей маленькой схемой и порадоваться тому, что все, оказывается, просто, как мне пришло в голову, что две или три безымянных персоны между дорогой мисс Уиттл и Меллором вряд ли рассказали свою историю только однажды. Нел1, если история хоть немного стоит пересказа, ее повторят и дюжину раз. И вот каждая линия на моей незатейливой карте неожиданно превращается в двенадцать, и

они разбегаются во всех направлениях. И конечно, каждый из двенадцати услышавших историю может передать ее другой дюжине. Слух катится, наматывая новые линии, и в итоге становится целым мотком бечевки.

Я быстро понял, что сейчас у меня разболится голова, так что некоторое время думал о других вещах (о раскрывающемся бутоне, о банке варенья). Затем я подумал, не лучше ли представить все это в виде генеалогического древа. Наверху страницы должны быть имена пары, которая впервые поделилась этой историей (или, так сказать, зачала ее), а внизу расширяющимся веером следует расположить имена многочисленных поколений потомков. Как в любой семье, надо полагать, черты новых поколений истории будут

иметь некоторое, но ни в коем случае не полное, сходство с чертами первых. Да, превосходно.

Приободренный этим успехом, я попытался представить себе другие необычные карты и вспомнил одну, которую частенько подумывал изготовить, а именно — карту пути, который проходит обычное письмо. Через сколько пар рук должен пройти конверт с того момента, когда он впервые падает в почтовый ящик, и до момента, когда он приземляется на коврик у двери? Несомненно, по дороге письмо должно провести много утомительных часов в различных мешках и стопках. В общем и целом, надо полагать, это не так интересно. Но как чудесно, когда тебя наконец отсортируют и направят по желобу в мешок почтальона. Как чудесно, когда тебя откроют и прочтут!

Показания местной жительницы

В этих местах хорошо знают, что Герцог был ужасно изуродован сифилисом. Его старое тело было все рябое с головы до самых нос Из-за чего он все эти длиннющие тоннели-то и прорыл, чтобы прятать свое страшенное лицо и вылезать из-под земли, когда захочет.

Мой муж знает одного малого, который ви-

дел старого Герцога лицом к лицу вот как я вас сейчас. Так он говорит, у того левый глаз был дюйма на два выше правого, а изо рта все время текло. Ужасное зрелище, что и говорить. Дети от него убегали на милю или застывали на месте как пришибленные. Да у нас тут кто угодно вам это подтвердит. В любую дверь постучитесь. Отвратительный этот ваш Герцог. Просто отвратительный, откуда ни глянь.

Из дневника Его Светлости

28 ноября

Сегодня весь день недоволен собой. Ничего не мог сделать.

Аура моя, по общему мнению, вся в лохмотьях, и я не имею ни малейшего понятия, как ее починить. Такое ощущение, будто я где-то дал течь. Того и гляди, начну крениться на левый борт.

Боль, которая путешествует по моему телу, всплыла между лопатками, и те сжались, как клещи, пытаясь задавить ее до смерти (я не имею никакой власти над этим действием). Вчера перед сном я отведал пару таблеток преподобного Меллора от ревматизма. Видом и запахом они напоминали кроличий помет, да и толку от них, полагаю, было столько же.

Из-за опасений за состояние моей ауры и из-за кинжала, который крутится у меня между лопаток, весь день я провел в ужасном беспокойстве, буквально на грани истерики. Вряд ли это лучшее состояние для самоанализа, но так уж решила Судьба. Не много случается дней, когда вы достаточно уравновешенны, чтобы хладно-

кровно посмотреть на себя и спросить: «Во что я превратил свою жизнь?», но, похоже, часто мы предпринимаем такую оценку как раз в те дни, когда меньше всего склонны удовлетвориться ею.

Я не создал ни одного произведения искусства. Я ничего не изобрел, ничего не открыл. Нельзя сказать, что я промотал землю и богатство, которые достались мне в наследство, но все же они не были использованы так плодотворно, как могли бы. И хоть я построил несколько домиков для стариков и деревенскую больницу около Белфа, после моей смерти не будет ни памятника в мою честь, ни повсеместных рыданий. Я даже не смог жениться на женщине, которую любил, — трюк, который удается большинству мужчин. Нет, все, что я делал в своей жизни, — это совершал бесчисленные меланхолические прогулки и тоннами выращивал яблоки. Даже честь выращивания яблок принадлежит не мне. При таком положении вещей меня запомнят как Герцога; который построил тоннели и принадлежал сам себе. В остальных отношениях забыть меня до крайности просто — я лишь половина человека.

Если бы Фанни вышла за меня, а не за Никольсона, она бы не отравилась испорченной рыбой.

Она до сих пор была бы жива. Я бы кормил ее лучшими кусочками, сам пробовал бы каждую ложку. Она переехала бы ко мне, за город, и возродила бы этот старый дом к жизни. Ее пестрые наряды, ее песни и смех изгнали бы невзгоды изо всех углов до последнего, Я и сейчас вижу, как в развевающихся платьях она летает из одной комнаты в другую, открывает ставни и впускает солнечный свет. Срывает чехлы с диванов и кресел, велит, чтобы растворили пошире окна. Свежий воздух врывается снаружи, к каждая комната в доме становится ярче от ее хорошего настроения.

Сейчас у нас были бы взрослые дети. Скорее всего и внуки тоже. Я учил бы их свистеть и позволял бы лазать по мне, как по дереву. Если бы она любил меня, я был бы сильнее, и огонь во мне теперь не угасал бы. Но детей нет, и внуков тоже. Есть лишь чехлы на диванах. Я живу всего в трех или четырех комнатах, а остальные пусты и безжизненны, и, когда служанка приходит открыть окно, я ползу прочь, словно краб.

Несомненно, следует считать большой удачей, что мне прислуживают такие замечательные работники. Воистину следует. Когда светит солнце, я могу за минуту получить оседланную лошадь и

провести целый день, гарцуя по всему поместью. Если бы я захотел, я мог бы проводить свое бесполезное время тысячей разных способов. Но для каждой счастливой минуты заготовлена ложка дегтя, ибо я знаю, что вспоминать ее я буду один.

Именно мужчинам предстоит в будущем изучить самые дальние уголки мира, придумать величайшие философские системы. Но что касается настоящего созидания, тут мужчины бесполезны. Мы не способны к этому, у нас просто нет необходимых механизмов. Все, что мы можем, — это стоять рядом и восхищаться; и, возможно, предложить руку помощи. Ибо в действительности есть лишь одна группа настоящих творцов, и мужчины в нее не входят. В лучшем случае, мужчины — повивальные бабки этого мира.

Весь день я провел в оцепенении, как собака, позабывшая, где она закопала кость. Я был так взволнован и настолько не в ладах с собой, что просто вынужден был встать и пройтись.

Я заметил, что когда беспокоюсь, то склонен отправляться на поиски прошлого. Полагаю, эта территория — более надежная и безопасная — знакома мне куда лучше. Наверное, потому я оказался у маленькой лесенки, ведущей на

чердак. Дверь была крепко заперта, и мне пришлось Вызвать снизу помощь. Лишь когда по лестнице, пыхтя, поднялся, наконец, Клемент со своей огромной связкой ключей, я смог попасть внутрь.

Мальчишкой я представлял себе небеса чем-то вроде чердака — думаю, по той единственной причине, что он был на самом верху дома и полон заброшенных вещей. Я полагал, что, когда человек умирает и становится ненужным, его относят наверх, на чердак мира.

Но если мне не изменяет память, предыдущие вылазки я совершал в теплое и даже сырое место, тогда как сегодня ужасно холодно. Я видел перед собой пар своего дыхания, и, чтобы осветить комнаты, понадобилась лампа. Клемент очень хотел остаться со мной, опасаясь, что я устрою пожар, но я был так подавлен, что даже его благотворная компания была для меня невыносима, и я прогнал его вниз.

Провел там около часа, рылся в сундуках и чемоданах — куча хлама, разумеется. Мусор пяти поколений лежал отмелями на голом полу, по затхлому островку на каждое. Сложенная одежда — древняя и провонявшая нафталином. Модная когда-то мебель. Побрякушки, вешал-

ки, картины в рамах, осколки и обломки, чью принадлежность я не смог установить. Затем, коробки разваливающихся бумаг, одна на другой — некоторые прогнили насквозь; постепенно мои пальцы так онемели, что я был не в состоянии продолжать раскопки и с радостью вернулся в цивилизованный мир.

Если, сам того не ведая, я искал утерянное сокровище, я его точно не нашел. Единственный мой трофей — это заводная обезьянка (изначально купленная, кажется, в магазине игрушек «Хамли» на Риджент-стрит бог весть когда), которая теперь восседает на моем бюро. Не столько игрушка, сколько украшение каминной полки, но ребенку, уверен, она бы все равно понравилась. В спине у нее торчит заводной ключ. Обезьянка кивает головой и снимает свой маленький цилиндр. Грандиозное зрелище. Но сидя на чердаке, она здорово обтрепалась, а ее колесики и зубчики все покрылись пылью. Только что, снимая передо мной шляпу, она остановилась, будто ее что-то отвлекло. Вот и все, чем я могу похвастаться сегодня... заводная обезьянка, чьи мысли, как и мои собственные, блуждают где-то далеко.

1 декабря

Проснулся с криком «Сведения!», до смерти перепугав беднягу Клемента. Он в это время стоял рядом с кроватью и чуть было не выронил поднос.

Шея моя до невозможности одеревенела. Никогда такого не было. Как будто между моим черепом и ключицами вбили шестидюймовые гвозди. Клементу пришлось отнести меня на руках и погрузить в одну из своих особых ванн. Ночью был страшный холод, но у меня нет ни малейшего сомнения, что внутри меня поработал злобный кулачок. Это он запустил в меня свои ногти.

Мало-помалу жар от воды проник в меня, и я начал оттаивать. Я попробовал слегка покивать головой взад-вперед, затем медленно покачать из стороны в сторону, пока, наконец, она не задвигалась чуть ли не отдельно от плеч. Но и тогда любое отклонение от этих двух осей вызывало почти ослепляющую боль, которую сопровождал безобразнейший шум, как будто множество мелких камешков терлись друг об друга.

— Мое тело воюет с самим собой! — объявил я, лежа в ванне. — Это гражданская война, вот что!

Я пытался быть спокойным, пытался быть стойким, пытался даже подружиться с этой трусливой

болью. Я прошел через всю безумную гамму эмоций, пока она совершала увеселительную поездку по моему хлипкому остову. Но этим утром я был попросту взбешен. С меня было довольно, и я решил покончить с ней. Скрючившись в дымящейся ванне, я поклялся обнаружить и пригвоздить ее. Поклялся раскроить ее злосчастный череп.

Завтракал в спальне. Помидоры с грибами и молотым перцем. Сопровождающий их ломтик бекона в мелком озерке жира не вызвал во мне ни малейшего аппетита, но, отличаясь находчивостью, я расстегнул ворот рубашки и приложил бекон к шее. Жир еще не остыл, и, втирая его в больное место, я добился некоторого облегчения.

Покончив с завтраком, я принялся искать бумагу — где вся бумага в этом доме? — и, обнаружив, наконец, блокнот, записал для себя план, держа остывающий бекон свободной рукой.

Сперва я написал заголовок:

Сведения.

который я расширил до:

Требуются сведения.

а под ним составил короткий список:

Рисунки;
Фотографии;
Карты;
Любые печатные труды касательно тел, особенно шей.

Вызвал снизу миссис Пледжер, Клемента и мистера Гримшоу и объявил:

— Требуются сведения.

— Какие сведения, Ваша Светлость? — сказала миссис Пледжер.

— Сведения о теле, — сообщил я ей. — Сведения о шейных позвонках.

До обеда никакой информации не появилось, а я, оказывается, задремал у камина.

Когда я проснулся, кулачок снова вцепился в меня. Верхнюю часть тела полностью заклинило, так что я не мог повернуть голову, чтобы все остальное не последовало за ней. Почувствовал себя автоматом.

— Будь ты проклято! — заорал я своему телу.

Связался с миссис Пледжер, попросил еще бекона: погорячее и пожирнее. Когда Клемент принес его, я схватил тарелку и засунул бекон прямо под рубашку. Застегнул ее обратно, чтобы ломтики не съехали. Велел Клементу собрать подкрепление, поскольку я собирался провести дневную атаку

на библиотеку, и вскоре ко мне прибыл выводок горничных и парочка ребят по водопроводной части. Немного посовещавшись, все мы устремились по коридору: молчаливый и осторожный Клемент, парни с девушками выстроились сзади, а я марширую впереди, горделивый и босой, с эполетами из бекона, который теперь просвечивает сквозь рубашку.

Мы достигли библиотеки в два счета. Дверь была открыта. Будь она заперта, я бы вышиб ее.

— Книги о телах — вот что нам нужно, — объявил я своим спутникам и вновь пробежался по списку.

Мы рассыпались, взяв где-то по дюжине полок каждый. Лестница на всех была одна, так что я приказал остальным разбиться на пары и помогать друг другу карабкаться на шкафы. Комната была куда больше, чем мне помнилось. Тут недолго было потеряться. Многие книги несли на себе толстый слой пыли, которая вскоре обволокла нас чудовищными клубами. Нам пришлось закрыть носы и рты платками, чтобы не задохнуться. Я едва мог разглядеть свою руку.

Когда мы отступили, каждый из нас оказался с добычей — медицинские книги, атласы, наброски, коллекции дагеротипов и так далее,

включая:

«Анатомия описательная и хирургическая» Генри Грэя[8];

«Научный Журнал Чемберса» (1860—1865)[9];

«Анатомия Меланхолии» Роберта Бёртона[10];

и несколько сборников скетчей Леонардо да Винчи.

Велел сложить все это в моей комнате, под картой мистера Сандерсона. Поблагодарил своих товарищей и выпроводил их. Разыскал свой медицинский словарь и добавил его в стопку. Посадил сверху заводную обезьянку. Вспомнил короткую цитату мистера Пика. Разыскал ее в кармане пиджака и приколол к стене.

В книге под названием «Целительство в Древнем Китае» я нашел странную диаграмму.

---

[8] Примечания: 8

Фундаментальный труд Генри Грэя (1825—1861), известный как «Анатомия Грэя», изданный в 1858 г., по сей день остается одной из классических работ по анатомии

[9] Примечания: 9

Точнее, «Журнал Литературы, Науки и Искусства Чемберса», до 1954 г. носивший название «Эдинбургский Журнал Чемберса». Роберт Чемберс (1802— 1871) — шотландский автор и издатель

[10] Примечания: 10

Точнее, «Журнал Литературы, Науки и Искусства Чемберса», до 1954 г. носивший название «Эдинбургский Журнал Чемберса». Роберт Чемберс (1802— 1871) — шотландский автор и издатель

Человек, все тело которого испещрено запутанной системой взаимосвязанных потоков. Они бежали вверх-вниз по рукам и ногам и заполняли его торс, как будто он проглотил целый моток бечевки. Я вырвал его из книги и тоже приколол на стену.

Я создал в углу комнаты что-то вроде алтаря. Я совершенно уверен, что где-то внутри его лежит ключ к причине моих нынешних страданий.

Меня одолела усталость. Весь день сидел у огня, то засыпая, то просыпаясь.

Записал в блокноте:

> Добавить к предыдущей записи о слухах, почтовых письмах и т.п.:
>
> Монеты — обращение. Например, пенни. Запросто может быть в обращении много лет. Сколько миль проходит средняя монета за свою жизнь? Как бы выглядела карта ее путешествия? Все кошельки, в которых она обитала. Количество ладоней.
>
> Подумать — возможно ли, чтобы кто-то владел одной монетой дважды? Как бы он догадался? Пришлось бы сделать узна-

ваемую отметину.

Подумать — когда у меня кошельке есть пенни, не считаю ли я его все время одним и тем же пенни?

Также — подумать о тепле в монете. Привычка мисс Уиттл во время разговора держать сдачу в руке, так что к тому времени, когда она ее отдает, монеты сильно нагреваются. Как бы это могло быть связано с предыдущими идеями о тепле и т.д.?

Когда я снова проснулся, было темно. Клемент принес мне супу, к которому я даже не притронулся. Проснулся опять, когда он разжигал огонь.

В следующий раз, когда я пришел в себя, дом был абсолютно недвижим, и огонь почти угас.

Клемент помог мне переодеться в ночную рубашку и уложил меня в постель. Я заснул, но сон не принес мне отдохновения. Он был изнурителен. Мне снилось...

Я правлю парой, запряженной в небольшой экипаж, беспрерывно мотаясь вокруг густого леса, отчаянно силясь проникнуть в его таинственные кущи. Всю ночь я сражаюсь с поводьями, ведя карету по извивам дорог. Я кричу лошадям «Тпру!»

и «Но, пошла!» до сухости в глотке. Я кружу и кружу, час за часом, мечтая сойти на землю, лечь и закрыть глаза. Но лес все так же закрыт для меня, и я опять должен отправляться в объезд, пока, замученный бессонницей, не прихожу в полное исступление.

Когда я в следующий раз открыл глаза, было раннее утро. Я сразу понял — что-то не так. В этом дне не было новизны. Вот в чем была неполадка.

Я доковылял до зеркала над камином. Волосы были всклокочены как всегда, но глаза смотрели безумно. Как будто кто-то снял мою голову, а потом приклеил обратно. Низкопробнейшая подделка. Шею повернули кругом, да так и оставили. Пришлось встать боком, чтобы как следует себя разглядеть. Рот был разинут от боли.

Помню, как вошел Клемент. И как я потерял сознание. Очень медленно. Кажется, прошла целая вечность.

У меня остались смутные воспоминания о том, как Клемент нес меня вниз по черной лестнице к тоннелям. Помню шаги его огромных ног по старым каменным ступеням.

Очнувшись в следующий раз, я обнаружил свою голову на сгибе его локтя. Он поддерживал меня всю дорогу. Мы мчались по тоннелю, и я

видел, как мелькают кирпичи в окне кареты.

— Мне больно, — сказал я ему.

Он взглянул на меня и печально кивнул.

— Куда мы едем, Клемент? — спросил я.

— Мы нашли вам шейного лекаря, Ваша Светлость, — ответил он.

2 декабря

Когда я открыл глаза еще раз, мы остановились у незнакомых домов; я полулежал в карете, как сломанная кукла, все еще в объятьях сна. Я увидел, как Клемент проходит по садовой дорожке и стучится в большую островерхую дверь. Увидел, как он разворачивается и идет обратно, в мою сторону. Помню, как открылась дверь кареты и он склонился надо мной, впустив холодный утренний воздух. Затем он снова подхватил меня на руки и бережно понес в сторону маленького домика.

Я прислонил голову к плечу Клемента и уставился в его большое, круглое лицо, а он прошагал со мной по узкой дорожке и нырнул под притолоку. Я оказался в простой белой комнате, обогреваемой скромным угольным очагом. Мне расстегнули рубашку и сняли ее через кружащуюся голову, и я помню, как меня уложили на

верстак, накрытый простыней. Лежа голым среди всей этой белизны, я чувствовал себя трупом на столе в морге.

— Доброе утро, Ваша Светлость, — сказал мягкий голос надо мной. — Меня зовут Коннер.

— Доброе утро, Коннер, — прохрипел я ему в ответ. — А чем вы занимаетесь?

— Я костоправ, — сказал он.

— Шейный лекарь?

— Можно сказать и так. А расскажите мне, Ваша Светлость, как поживают с утра ваши косточки?

— О, это старые косточки, Коннер, и в очень плохой форме. Мне всю спину заклинило.

— Что ж, тогда, — сказал Коннер, — я сделаю все, что смогу, чтоб вас расклинить.

— О, хорошо бы, — сказал я.

Мне было так худо, что я едва открывал глаза, но, когда он переворачивал меня на живот, я мельком увидел его. Он был довольно молодой, плотный и краснолицый, с темными кудрями и аккуратно подстриженными усами. Поверх обычной одежды на нем был белый фартук, а рукава рубашки были закатаны выше локтя, открывая впечатляющие предплечья.

Положив щеку на подушку, от которой пахло лавандой, я почувствовал, как его большая теп-

лая рука коснулась моего плеча.

— Немного масла... — прошептал он, — для смазки.

И в ложбинке между лопатками я внезапно почувствовал жидкое тепло. Сперва мой разум был в ужасном смятении, не зная, приятно ли мне или болезненные ощущения только увеличиваются. Тем временем, крохотные предвестники восторга разбегались во все стороны под холодной кожей моей спины, по мере того как теплое масло уверенно пробиралось отлогой долиной моего позвоночника.

— Вы позавтракали, Ваша Светлость? — спросил он, втирая масло мне в плечи аккуратными круговыми движениями пальцев.

— Нет, Коннер, не завтракал, — пропыхтел я из-под его могучих рук. — Клемент привез меня прямо из постели.

— Мне показалось, пахнет беконом, — сказал Коннер.

— Это вчерашний бекон, — ответил я.

— А, — сказал он, описывая все более широкие круги большими пальцами. — Странно, каким устойчивым бывает запах.

Он не прекращал добродушной болтовни, пока его руки внедряли масло в мою плоть. Большая

часть нашей беседы была малозначительна и забывалась на месте, но в основе ее чувствовалась доброта, благодаря которой я постепенно расслабился и уже через несколько минут смог признать:

— Мне кажется, в последние день или два я был немного обеспокоен. На что Коннер ответил:

— Неудивительно, Ваша Честь. Тело не любит, когда его крутит узлами.

Теперь кончики его пальцев глубже погружались в меня, создавая симметричные вихри по обеим сторонам позвоночника.

— А откуда в теле берется столько узлов? — поинтересовался я.

— О, есть сотня разных источников, Ваша Светлость. Я бы сказал, самый популярный из них — накопленное напряжение. Или, может, резкий поворот головы. Еще есть плохой сон... слишком много подушек, слишком мало...

И разрази меня гром, если за этой болтовней он не творил со мной чудеса. Его пальцы, казалось, прямо-таки вытягивали из меня боль, как по волшебству. И оглядываясь назад, я вижу, что в отличие от невежды доктора Кокса Коннер и впрямь поощрял меня изливать свои тревоги, разделываясь с ними на месте — расправляясь с

ними кончиками пальцев и спокойно льющимся голосом.

— А скажите, Коннер, — спросил я, — вы не боитесь, что некоторые плохие чувства, которые вы достаете из пациентов, могут осесть у вас внутри?

Он наклонился и зашептал мне в ухо:

— А знаете, Ваша Светлость, я воображаю себя чем-то вроде камина... таким образом, все дурные чувства просто вылетают в трубу.

— Камин, — сказал я. — Да. Превосходно.

Затем он перевернул меня на спину, обошел верстак и встал в изголовье, все это время не снимая с меня руки. Должен сказать, что, развернувшись лицом к комнате, я, несомненно, почувствовал себя уязвимым, но надежные пальцы Кон-нера, мягко скользнув под мою шею, тут же меня успокоили. Он поднял мою голову на дюйм или два над столом и баюкал ее в своих руках, и в первый раз я смог открыть глаза и бегло осмотреть место действия. Как младенец, я таращился вокруг. В дальнем углу потолка я обнаружил паутину, что лениво раскачивалась над комнатой, где больше не было ни пылинки. Теперь Коннер держал мою голову ладонью одной руки, пока другая медленно пробиралась

вниз, вдоль шеи, а пальцы проверяли состояние каждого позвонка, прежде чем перейти к следующему. Я заметил, что стены операционной были совершенно голыми. Ни одной картины или схемы.

— Расслабьтесь и не держите голову, Ваша Светлость, — сказал он мне. — Я не дам ей упасть.

Затем он начал вращать мою голову под почти незаметными углами — весьма своеобразное ощущение, от которого сначала меня едва не замутило, так что мне понадобилось немало стараний, чтобы не сжать мышцы и не остановить все действо. Я ощущал себя куклой в чьих-то руках, как это ни глупо. Комната механически скользила вокруг меня. Но после того как моя голова расслабленно подвигалась туда-сюда с пару минут, поначалу я почувствовал, что мне становится неизъяснимо уютно, а потом мои веки стали наливаться благословенной тяжестью. Помню, я вяло размышлял, какими сложными должны быть суставы, приспособленные для столь запутанных маневров, и удивлялся количеству мышц, приводимых в действие медленным покачиванием моего черепа в пространстве.

Издалека донесся голос Коннера:

— Мне хотелось бы произвести небольшую

манипуляцию, Ваша Светлость.

Лежа в колыбели его рук, я дал полусонное согласие.

Он попросил меня глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Я под завязку наполнил свои старые легкие и начал выдыхать в ту маленькую белую комнатку, и впервые за несколько недель почувствовал, что нашел тихий уголок для раздумий. Мир приятнейшим образом замедлял свое движение.

И тут Коннер с такой невероятной силой и жестокостью рванул мою голову к востоку, что дьявольский треск раздался меж голых стен комнаты.

Я был в совершеннейшем ужасе, в особенности из боязни, что моя голова напрочь оторвана от шеи. Еще я боялся, что какие-нибудь мелкие, но существенные косточки только что пришли в негодность. Я представил себя лежащим в собственной деревенской больнице, в постели, с множеством разных устройств, пристегнутых к моей голове. Беспокойство мое было очевидным — судя по тому, что Коннер задумчиво произнес:

— Впечатляющий звук, сэр, не правда ли?

Я согласился и довольно робко поинтересовался:

— А будут еще?

— Будут, — ответил он.

Разведав окрестности еще пары моих позвонков (которые к этой минуте, определенно, пришли в движение), он спокойно попросил меня наполнить мои легкие и выпустить воздух, как и раньше. Что ж, я сделал, как просили, и начал выдыхать (на этот раз куда менее уверенно), когда моя голова неожиданно дернулась на запад, издав еще один могучий треск костей.

— Теперь отдохните пару минут, Ваша Светлость, — сказал Коннер. — А когда будете готовы, я хотел бы, чтобы вы перевернулись на живот.

Если быть до конца откровенным, я боялся, что, когда я перевернусь, голова останется на подушке. Звук, произведенный манипуляциями Коннера, напоминал падение целого подноса с посудой и до сих пор раздавался у меня в ушах. Поэтому когда я, наконец, отважился приподняться, то с большим облегчением понял, что моя голова все еще держалась на мне — хоть и не так уверенно, как раньше.

Итак, моя щека вернулась на пропахшую лавандой подушку, и пальцы Коннера потихоньку задвигались вверх-вниз по моей спине в поисках улик. Найдя что-нибудь подозрительное, они

останавливались, и в то время как одна рука ползла вдоль ребра налево, другая отправлялась направо. В отдельных случаях, когда пальцы набредали на узел мышечной боли, они растирали его, со всей непреклонностью, с полминуты, затем осторожно ощупывали прилегающую территорию и, убедившись, что все в порядке, возвращались на свою тропу. Я чувствовал, что моя спина — человеческая головоломка, которую Коннер вознамерился разгадать, перебирая один больной сустав за другим.

— Я просто груда запчастей, — признался я.

— О, скоро вы снова будете собраны, — ответил он.

— Как вообще спина может превратиться в такой ералаш? — спросил я.

— Когда одна кость сбивается с пути, — сообщил мне Коннер, — другие склонны последоваза ней. Тело пытается восстановить равновесие, но иногда приносит больше вреда, чем пользы.

— И тогда человек становится похож на... китайскую головоломку, — предположил я.

— Вот именно, Ваша Светлость, — ответил он.

Потом он перевернул меня на бок, спиной к нему, засунул одну мою руку под меня и поднял мою левую ногу к моей груди — все это с такой

легкостью, что мне захотелось его поздравить. Он просто тихонько стукнул меня под коленкой, и нога послушно согнулась в нужную сторону. Похоже, он был близко знаком с каждой пружиной и шарниром во мне и управлял моим телом не хуже меня самого. Меня не тягали так ловко с тех самых пор, как еще в детстве я играл со своим отцом.

Одной рукой он мягко подтянул мое бедро к себе; другая прижимала к столешнице мое плечо. Секунду он удерживал меня, потом наклонился и спросил:

— Вы готовы, Ваша Светлость?

Должно быть, я прошептал что-то вроде неуверенного согласия; по правде говоря, я не имел ни малейшего понятия, какой ужасный договор только что заключил.

Мое плечо прижалось к столу. Таз развернулся в другую сторону. Позвоночнику, раздираемому противоположными силами, ничего не оставалось, как уступить. Каждый позвонок в моей спине издал хлопок — один за другим — подобно треску свежей колоды карт. Кто бы мог подумать, что из человеческого тела можно извлекать такие диковинные звуки? Я был благодарен, что на мне были мешковатые брюки, потому что более

тесная пара могла бы не выйти целой из этой передряги. Эта мысль пришла мне в голову, когда Коннер перевернул меня на другой бок и моя голова погрузилась в его фартук (который легонько отдавал карболкой), после чего вся шумная операция повторилась; спина моя изогнулась в другую сторону, но с тем же пугающим звуком.

Затем я был оставлен лежать на спине, приходя в себя и думая, что, когда придет время попрощаться с Коннером, я, вероятно, стану гораздо выше ростом. Я глубоко вдохнул, чтобы убедиться, что вдох не будет отныне всегда сопровождаться треском хребта. Мой костоправ переместился к тазу с водой и теперь намыливал руки.

— Скажите мне, Коннер, — окликнул я его. — Вы верите в ауры?

Секундное молчание. Затем:

— Ну, мне придется узнать, что это за штука, прежде чем сказать, верю ли я в нее.

— Это свет или тепло, которое исходит от человека.

— Ну, насчет света не знаю, Ваша Светлость, а тепло точно есть. В этом я уверен. Я обдумал это.

— А в духов вы верите, Коннер? — продолжил я.

— Почему вы спрашиваете? — ответил он.

И тогда я рассказал ему про свое душевное состояние, и про луну в лесу, и про мальчика, который ходил за мной.

— Вы видите мальчика? — было его единственным вопросом.

— Полагаю, что вижу, да.

— Значит, разумеется, вы верите в него, Ваша Светлость?

— Да, видимо, так... но я не могу сказать, принадлежит ли он реальному миру или только моему воображению.

— При всем моем уважении, Ваша Светлость, какая разница, в каком мире он живет, если он достаточно реален, чтобы быть видимым?

— Звучит логично, — сказал я. Коннер снял мои ноги с верстака и помог мне встать. Попросил меня опустить руки по швам и

расслабить их. Он встал позади меня и, когда я поймал равновесие, медленно пробежался пальцами вверх и вниз по моему хребту.

— Ну вот, так гораздо больше порядка, Ваша Светлость. В самом деле, совсем никакого ералаша.

Затем он обошел кругом, положил руки на оба моих плеча и оценил меня в целом.

— Плечи примерно на одной высоте, — сказал

он.

И в первый раз я посмотрел ему прямо в лицо. Он был таким же добрым и красивым, каким я его представлял, но, хотя голос его был полон решимости, мне показалось, я уловил в нем какую-то отстраненность, почти неуверенность. Когда он говорил, глаза его блуждали, словно не могли сосредоточиться и предпочитали высматривать наверху паутину. Возможно, он немного застенчив, подумал я, и с трудом смотрит в глаза другим — так иногда бывает. Прошла еще пара секунд, прежде чем я понял, что на самом деле Коннер слеп.

— Ну как теперь? — спросил он меня.

— Так гораздо лучше, Коннер. Спасибо, — ответил я.

Он кивнул и улыбнулся, так что его усы прибавили по дюйму с каждого конца.

— Если вас это интересует, — сообщил он, — я слеп с того дня, когда родился. Я был ошеломлен.

— Господи, откуда вы узнали, о чем я думаю? — спросил я.

— Ну, откровенно говоря, я полагаю, это была ваша первая возможность как следует меня разглядеть. Вы немного помедлили с ответом на мой вопрос. А когда ответили, я почувствовал легкую

нерешительность.

— Вы совершенно правы, Коннер, — ответил я, пристыженный. — Пожалуйста, примите мои извинения.

— Не за что, Ваша Светлость. — Он помотал головой. — Не нужно. Совершенно не за что.

Я изучал его несколько мгновений, как будто он только что появился передо мной в клубах дыма — таким странным и загадочным он был, — прежде чем понял, что глазею на него, будто он какой-то цирковой уродец. Я позволил затянуться молчанию, а потому заговорил, чтобы оборвать его:

— Простите, что говорю это, Коннер, но вы, должно быть, замечаете всякого рода звуки и шумы, которые проходят мимо большинства людей.

— Очень может быть, Ваша Светлость, — ответил он. Затем добавил: — Но их может услышать каждый.

— Точно, — сказал я. — Точно.

Я оглядел комнату, будто она только что появилась. Дверь, и полки, и спартанские стены — все возникло передо мной заново. Я представил, что содержимое скрыто во тьме и находить его надо, считая шаги. Банки с маслом, кувшин с водой,

угольные щипцы — все преобразовалось в вещи слепого. Неожиданно стало более весомым. Более осязаемым.

Коннер помог мне натянуть рубашку обратно через голову, и я смотрел, как он снимает с крюка мой сюртук. Он вернулся и распахнул его для меня, затем грациозно провел меня через дом к двери.

— Вы должны извинить мое внезапное молчание, Коннер. Мне раньше не встречались такие люди, как вы.

— Ну, надо сказать, у всех нас есть качества, которые заметны не сразу. Но уверяю вас, Ваша Светлость, я и сейчас такой же, каким вы встретили меня час назад.

Когда он открыл входную дверь, за ней уже ждал Клемент, готовый проводить меня до кареты. Пожимая руку Коннера, я почувствовал в своей руке свежую энергию, и на короткий миг я ощутил прикосновение целого мира, который был для меня потерян.

— Вы привели меня в порядок, Коннер, — сказал я, — и я очень это ценю.

Он улыбнулся, потом наклонился ко мне и прошептал:

— Если этот ваш дух будет и дальше вам до-

кучать, вы хорошо поступите, если поговорите с ним.

— Поговорю, Коннер, — сказал я. — До свидания. И еще раз спасибо.

— До свидания, Ваша Светлость, — сказал Коннер. Затем: — До свидания, Клемент, — хотя Клемент не произнес ни слова.

4 декабря

После недавнего визита к Коннеру я совершенно не расположен к еде; возможно, мое тело сыто по горло восстановлением хребта и не хочет связываться с нагрузкой и натугой пищеварения. Вчера за обедом я проглотил кусочек тоста с мазком грибного паштета, но это, пожалуй, единственная твердая пища, попавшая мне в рот.

Как бы то ни было, миссис Пледжер настаивает, чтобы я потреблял, по крайней мере, достаточно жидкости, и потому вскипятила мне большой чайник чая с ромашкой и лимонной мятой. Это, как меня уверяют, успокоит после недавней

лихорадки и настроит на более мирный лад. Должен признать, что хотя запах (да и привкус) напоминают сырой уголок сада, оказалось, что вскоре я вполне к нему привык. Через некоторое время это пристрастие перешло в неистовую,

почти неутолимую жажду. Казалось, чем больше я пью, тем более обезвоженным становлюсь. Возможно, я недавно потерял свой внутренний сок. Возможно, мое тело распознало в чае какой-то минерал, которого мне сейчас не хватает. В любом случае за моим первым требованием к миссис Пледжер вскипятить второй чайник вскоре последовали все более частые и отчаянные просьбы. Я чувствовал себя полностью иссохшим, словно затерянный в пустыне бедолага, и, как человек-губка, я впитывал все до последней капли.

Как бы то ни было, к раннему вечеру начали сказываться громадные объемы выпитого чая, и беспрестанные путешествия в клозет стали утомительны. Я был затоплен ромашкой и мятой. Слишком резко повернувшись в кресле, я чувствовал, как пинты жидкости плещутся внутри, так что когда около семи миссис Пледжер заглянула в дверь, то обнаружила, что я плотно засел в кресле, чрезвычайно (хоть и естественно) одурманенный, в мучительной борьбе со сном. Тут был вызван Клемент, чтобы уложить меня в постель.

В довершение всего, спал я в высшей степени замечательно — без помех и дурных снов. Самый приятный сон за многие месяцы. Проснувшись

спустя добрых четырнадцать часов после того, как голова моя коснулась подушки, я почувствовал себя совершенно отдохнувшим и вообще новым человеком, хотя, когда я открыл рот, чтобы зевнуть, оказалось, что дыхание мое до сих пор немного отдает душистыми травами.

5 декабря

Не думаю, чтобы хоть раз покинул комнату за весь день, и не могу сказать, чтобы сколько-нибудь жалел об этом. Когда Клемент вытер меня насухо после одной из своих особенно мыльных ванн, я просто переоделся в свежую ночную рубашку и позавтракал у камина. Проглотил пару яиц в мешочек и две чашки «ассама», но решил провести весь день в тишине и покое, чтобы дать моим костям улечься. Попросил Клемента разыскать мою старую сатиновую шапочку и пару плотных чулок, так что в плотно затянутом вокруг меня халате я был почти полностью огражден от внешнего мира.

Посещение слепого Коннера дало мне возможность по-новому взглянуть на свое тело, и,

чтобы подтвердить некоторые возникшие у меня вопросы, я снял с алтаря старую добрую «Анатомию Грэя» и раскрыл ее.

Провел большую часть дня в кресле, с тяжелым фолиантом на коленях, лениво переворачивая страницы и прерываясь только затем, чтобы подбросить угля в огонь. Хотя, должно быть, я потратил несколько часов на ученое общение с книгой, нельзя утверждать, что я, собственно, ее «читал». Она слишком напичкана техническими терминами, чтобы я мог набрать какую-то скорость. Вместо этого я изучал каждый рисунок тушью, который привлекал мое внимание, и переходил к следующему.

Многие иллюстрации представляют какой-нибудь внутренний клапан или краешек кости, и мне, честно говоря, не очень-то интересны подобные вещи. Я предпочитаю картинки с чуть большим охватом, на которых легче распознать в изображенной области часть человеческой фигуры (например, руку или ногу в разрезе). Каждый раз, перевернув страницу, я выискивал кисть, палец ноги или глазное яблоко, которые могли бы помочь мне сориентироваться, но если, потратив полминуты, я все еще не мог отличить север от юга, то просто переворачивал страницу и начинал всю операцию сначала.

«Субъектом» всех рисунков, похоже, был один и тот же несчастный, и совсем скоро я почувство-

вал к нему жалость за те мучения, которым он подвергся по моей милости — за согласие быть разобранным на части с таким тщанием. Там, где можно было видеть его лицо, оно несло печать усталого смирения, которое, мягко говоря, похвально, если учесть, что половина его лица была жестоко содрана, обнажая скрытую под ней сеть нервов и вен.

На одной странице отважный малый стоит, распростерши руки, повернув к читателю нагую спину, без единого клочка плоти. Перед вами по-настоящему голый человек. Единственное, что покрывает его несчастные кости, — это ленты мускулов, свернутые вокруг него, как пучки колосьев... туго натянутые на плечах и под мышками, они влажно блестели на бумаге.

Посреди массы перекрученных мышц я заметил костяную дамбу позвоночника — расстегнутое ожерелье из пронумерованных жемчужин, делящих его спину точно надвое. И вглядываясь в них, я почувствовал, что немного волнуюсь, узнавая те самые косточки, которые знающие пальцы доброго, слепого Коннера так недавно ощупывали и двигали.

Я изучил каждую жилу, натянутую на этого человека, и все же он ни разу не дрогнул. Говоря

откровенно, так убедительно было прорисовано для меня отсутствие кожи, что мне приходилось бороться с позывом отправиться на поиски одеяла, чтобы прикрыть его глянцевую фигуру.

На одной странице подобно рядам кремния были разложены кости руки; каждый шарнир и сустав был подписан надлежащим латинским именем. Сколько маленьких косточек в одной лишь кисти — организованных так же сложно, как кости птицы! — и так убедительно представленных, что, переворачивая страницу, я поймал себя на том, что невольно прислушиваюсь к их треску.

Решетка ребер видом напоминала не столько человеческое тело, сколько витрину лавки мясника. Или какие-нибудь выцветшие овечьи останки, на которые набредаешь, прогуливаясь среди холмов.

Затем, наконец, — череп! этот неутомимый зубоскал, на который со временем становятся похожи все лица. Стоя перед зеркалом, я каждый раз вижу, что он проступает все явственнее.

Щеки мои, что когда-то были туго набиты, со временем опустели, и каждый год мой лоб выглядит все четче.

Странно думать, что каждый из нас носит

внутри работающий скелет; что в глубине моей плоти терпеливо трудится мое собственное дерево костей.

Неудивительно, что это жуткое чтение не способствовало аппетиту, и потому, узнав, что на обед меня ждет вареный окорок, я связался с кухней и попросил перейти сразу к пудингу.

К концу дня я все еще благополучно читал, изредка делая заметки, когда вдруг почувствовал, как вокруг медленно сгущается унылая летаргическая тьма. В этом нет ничего необычного, ибо, когда зимним днем свет теряет силу, я часто переживаю соответствующий упадок духа, и дело может кончиться меланхолией. Однако в этом случае я решил попробовать в качестве противоядия небольшой сеанс стояния на голове. Мальчишкой я любил проводить время подобным образом и почти всегда мог рассчитывать на него, желая вернуть мыслям легкость. К счастью, я предусмотрительно запер дверь спальни, ибо не успели мои ноги коснуться стены, как ночная рубашка сползла мне на уши.

Поскольку на полу для защиты головы лежала толстая подушка, я смог простоять в этой позе несколько минут, чувствуя себя посвежевшим, потом задумчивым, и, наконец, немного вялым.

Снова встав на ноги, я ощутил, как кровь хлынула сквозь меня, подобно множеству горных ручьев. В целом же я был весьма воодушевлен и пообещал себе отныне и впредь проводить не меньше пяти минут в день вверх ногами.

Не так давно в глубине ящика стола я нашел небольшую вересковую трубку, которая некогда принадлежала моему отцу. Формой она напоминает голландский деревянный башмак и плотно ложится в ладонь моей руки. Впервые обнаружив ее, на дне я заметил остатки древнего табака, вполне логично предположить, что эта щепотка была частью последней трубки, выкуренной моим отцом.

Иногда я думаю, что я просто глупый старик, потому что сегодня, когда стемнело и в камине гудел огонь, я отщипнул немного от новой табачной смеси (на упаковке написано, что она пользительна для сердца и легких) и наполнил эту вересковую трубку. Я проследил, чтобы древние волокна табака остались на месте, и, тщательно заткнув и заправив все это в чашечку трубки, как настоящий курильщик, я зажег ее.

Накинув на плечи старое пальто, я вышел на балкон и в холодном ночном воздухе позволил себе вообразить, что вдыхаю тот самый дым, кото-

рым наполнял свои легкие отец много лет назад. Я представлял, что клубы неторопливо плывут сквозь самые глубокие мои полости, и чувствовал себя крайне умиротворенным. Я глазел вверх, на звезды, рассыпанные меж горизонтов, прибавляя скромный огонек моей трубки к их мрачному представлению.

Стоя там, в маленьком облаке дыма, и мечтательно размышляя о всякой всячине, я заметил, что не более чем в двух ярдах за моим плечом в воздухе плавает загадочный мальчик. Протянув руку, я мог бы дотронуться до него. Но ему бы это не понравилось, и скорее всего он исчез бы. И я продолжил тихо попыхивать отцовской трубкой-башмаком и глядеть на звезды, а плавающий мальчик составлял мне компанию в необъятной, почти беззвучной ночи.

7 декабря

Апатия продолжается. Наверно, я выпил слишком много ромашки. Весь день только и делал, что зевал да потягивался. Как ни удивительно, на пике каждого зевка я слышал колокольный звон. Раньше я никогда не замечал ничего подобного.

Миссис Пледжер продолжает свой травяной штурм. Нигде в поместье от нее не спрятаться.

Сейчас я с удовольствием выпил немного сарсапарели для очистки крови. Но ведь она то приносит мне толченую полынь (для возбуждения аппетита), то вдруг тащит бузину и перец (прочистить мою мутную голову). Хотел бы я найти в себе смелость сказать ей, что моя голова не стала бы такой мутной, если б не полынь. Но от подобных разговоров с ней добра не жди, и я содрогаюсь при одной мысли о том, чем она может ответить. И все равно, я бы гораздо лучше поладил с этим снадобьем, не напоминай оно вкусом и запахом вареную кору и корни. Должно быть, есть предел количеству народной медицины, которое способно выдержать человеческое существо. Иной раз будто хлебнул из застойного пруда.

Весь день целью миссис Пледжер было возбудить мой аппетит, так что к полудню, в качестве жеста доброй воли, я объявил, что с удовольствием съел бы яблоко (уж этого в нашем доме всегда в избытке), и демонстративно почмокал губами. Через десять минут мне преподнесли блюдо, заваленное дюжиной сортов, из которых я выбрал свой любимый — прекрасный «рассет»: шершавая, смуглая кожа, нежная, молочная плоть с богатым, слегка дымным ароматом.

Я покатал его в ладони, чувствуя восхитительную шершавость, затем рассек его точно надвое, звякнув ножом о тарелку. Две половинки безупречно разошлись, плоские и белые, и, взяв одну из них и вгрызаясь в нее, я смотрел, как одинокая косточка, выскочившая из разъятой сердцевины, тихо крутится на тарелке.

Такие колоссальные возможности в скромной косточке! Как славно, что, запертая в самом сердце плода, там ютится плотная гроздь его полных энергии семечек. И что в каждой маленькой темной слезинке — задатки дерева.

Но мы не любим их есть. Они горьки! Мы извергаем бедняжек наружу. Однако если бросить или посадить (или даже выплюнуть) ее на плодородную землю, маленькая косточка возьмется за свой честолюбивый замысел и в один прекрасный день станет побегом, а затем и деревом. Под ее прочной маленькой скорлупой — все элементы, необходимые, чтобы вырастить дерево — как странно... дерево из косточки! — которое однажды, много лет спустя, может само произвести костистые яблоки.

Около двух я решил, что если не предприму усилий подвигаться, то, возможно, угасну, не покидая своего кресла. Итак, я велел принести снизу

соболью шубу с бобровой шапкой и зашнуровал пару коричневых башмаков. На мне уже были надеты молескиновые брюки и вязаный жилет, и когда я, добавив шубу и шапку, встал перед зеркалом, то показался себе куда как элегантным. Снимая с моего плеча случайную соринку, Клемент выразил беспокойство касательно моей прогулки в одиночестве, но, как только он понял, что я собираюсь всего лишь пройтись по дому, ему стало

значительно легче.

Перед отбытием я проверил свое снаряжение — компас, платок и бумагу с карандашом, на случай, если мне понадобится что-нибудь записать, — и, сняв шубу, чтобы размяться, краем глаза заметил, как Клемент подсовывает большое овсяное печенье в ее карман. Не стал ничего говорить.

Постоял в дверях спальни, пытаясь вспомнить, сохранилась ли до сих пор лестница на конце Западного Крыла или ее снесли после того, как она была изъедена червями. Однако мало-помалу я убедил себя, что от червей пострадало Восточное Крыло, а не Западное и что лестницы совершенно точно заменили... добрых пятнадцать лет назад, скорее всего. Нет, двадцать. (Или даже двадцать пять.)

Клемент был все так же полон желания сопровождать меня, но я настоял (весьма решительно, как мне показалось), чтобы мне было позволено пойти одному. Оба мы потоптались с минуту у двери, слишком смущенные, чтобы сказать что-либо. Затем я похлопал его по плечу и тронулся в путь, как солдат, отправляющийся на войну. Взглянув через плечо несколько секунд спустя, я обнаружил, что Клемент все еще там, мы помахали друг другу рукой, и я пошел дальше. Только в самом конце коридора я сообразил, что вместо запада направляюсь на восток. Вот так дурень! К счастью, Клемент оставил свой пост у двери моей спальни и был занят огнем в камине, и потому я смог вернуться по своим следам и прокрасться на цыпочках мимо. Тихо просеменил по коридору, пока не достиг поворота.

Через пять минут я совершенно заблудился, но это меня нисколько не обеспокоило. Было крайне увлекательно скитаться из комнаты в комнату, разглядывая и те, что были мне совершенно незнакомы, и те, которые, как выяснилось, я знаю вполне хорошо. Так, здесь был кабинет, напичканный мебелью, с десятифутовым мраморным камином, который с таким же успехом мог принадлежать соседскому дому. Но была

здесь комната, о которой я вспоминаю с любовью, потому что планировал отделать ее и назвать Холостяцким Залом, где собирались бы пообщаться все одинокие мужчины Ноттингемшира. Я представлял себе спокойные игры, много пения и дух мужского товарищества, но длинные столы стояли пустыми, зарастая пылью, так и не увидев ни портвейна, ни пирожных. Иногда смущаешься, видя свои старые мечты полуживыми и захудалыми, когда, по правде говоря, лучше бы они были мертвы и в шести футах под землей.

Я обходил один коридор за другим, исследуя каждую новую аллею, попадавшуюся мне на пути. Одна была устлана восточными коврами, в следующей был простой паркет. В изогнутой зале я прошел сквозь угрюмый строй всех моих предков, сердито взиравших на меня со своих портретов. В другой зале по стенам висели головы оленей. Стены третьей были украшены писанными маслом лошадьми, чьи ноги были слишком велики для их тел. А за углом я нашел старую мамину Комнату для Шитья, хотя всегда считал, что она в другой части дома.

Безнадежно сбившись с пути, я обратился к своему верному компасу. Потребовалась минута или две, чтобы до меня дошло, что выяснить, где

находится север, — еще не значит найти выход. Но, стерев налет с оконного стекла и приглядевшись к холодному сырому миру, я понял, что могу примерно определить свое расположение в доме по одному из деревьев.

Через некоторое время я оказался на кухне. Две девушки чистили овощи и были явно захвачены врасплох. Думаю, они приняли меня в собольей шубе за медведя, забредшего из леса. Так что я поспешно снял шапку и представился, и крики тут же утихли.

Я был рад сообщить им, что моя прогулка возбудила во мне здоровый аппетит, и попросил их передать эти новости миссис Пледжер. Повернувшись, чтобы уйти, я заметил двух кур, распростертых на столе и ждущих, чтобы их ощипали. Головы их свисали, и вообще вид у них был довольно жалкий, так что я попросил вместо них приготовить суп из пастернака и заторопился прочь, не дожидаясь явления миссис Пледжер.

Уже выйдя из кухни и дойдя до середины коридора, выкрашенного в кремовый цвет, я вдруг понял всю серьезность положения. Пришлось вернуться и спросить у девушек, как пройти в мои комнаты.

Стоял на голове добрых десять минут, после че-

го в моих глазах с полчаса роились мушки. После обеда надел шубу и вышел на балкон попыхтеть отцовской трубкой. Белый дым опустился в меня, заполнил меня всего и умиротворил с головы до ног. Немногие люди, я думаю, смогли бы набить и выкурить трубку, не предавшись философствованию. В самой природе трубки есть что-то, что к этому обязывает.

Окруженный завитками дыма, я наблюдал в свой старый телескоп ледяную луну. Говорят, на ней есть свои моря, такие же, как наши. Какое-то время я размышлял об этих далеких водоемах и о том, что вызывает на них приливы. Я снова изучал те же звезды, которые изучал уже сотню раз, и возносил свою скромную хвалу нашему Творцу. Кажется, у меня вдруг возникла мысль, а именно...

...что Бог в небесах, возможно, нужен нам для того, чтобы взглянуть на нашу жизнь со стороны. И поиски спутника жизни, которые мы ведем, вероятно, работают подобным образом, то есть, устанавливая пункт наблюдения вне себя, мы ищем столь нужной нам объективности. Иными словами, глядя на себя глазами другого, мы на мгновение избавляемся от тягостной необходимости населять самих себя.

Теперь, час спустя, я все еще не понял, есть ли в этом смысл. Может, это просто табачный бред. Однако в одном я уверен твердо — в том, что, когда я стоял там, на балконе, пытаясь решить эти трудные и важные вопросы, я опять почувствовал где-то неподалеку присутствие парящего мальчика.

Он молчал — просто висел совсем рядом, глядя на меня сверху. Мальчишка он нервный, так что я очень старался не спугнуть его, и мне удалось, изучая луну в телескоп, другим глазом наблюдать за ним. Так я постепенно начал разбирать его очертания. Он очень юн. В нем есть какая-то бледность. Очень бледный и призрачный маленький мальчик.

10 декабря

Этим утром я только что закончил завтрак и любовался картой Сандерсона, когда в мою дверь постучала миссис Пледжер и вошла, размахивая руками; губы ее были деловито поджаты.

— Чем могу помочь, миссис Пледжер? — спросил я.

— У меня плохие новости, Ваша Светлость, — ответила она.

В таком случае, сказал я, лучше ей сразу выло-

жить их, и поживее. Тогда она набрала воздуха, подняла голову и подозрительным, словно тщательно отрепетированным тоном сообщила, что мистер Сноу, мой старый садовник, недавно покинул этот мир.

Во мне все так и оборвалось. Должно быть, я даже сгорбился в кресле. Самые разные чувства забурлили во мне, но не успели они выйти на поверхность, как миссис Пледжер подняла руку, чтобы снова привлечь мое внимание, и рассказала, что мистер Сноу вполне мирно скончался во сне, но что... тут голос ее дрогнул... и миссис Сноу умерла сразу вслед за ним.

К этому времени ситуация уже казалась мне невероятно сложной, но фонтан миссис П. работал вовсю, и слова лились из нее без остановки... о том, что это «без сомнения, весьма прискорбно», но доктор Кокс полагал, будто «ужас потери мужа почти наверняка способствовал смерти жены», пока, измусолив левой рукой карман фартука, миссис Пледжер не подвела итог своей речи, заявив, что миссис Сноу была «почти такой же старой и дряхлой, как мистер Сноу, так что ничего удивительного здесь нет».

Теперь я был вовсе потрясен и обескуражен. Вероятно, я кивнул и пару раз пробормотал «несо-

мненно», но, по правде говоря, я не сознавал, что делаю. Несколько противоречивых мыслей боролись за мое внимание, как овцы, что пытаются пролезть в одни ворота. Одна оплакивала потерю моего старого садовника и нашептывала мне на ухо: «Мистер Сноу, твой старый садовник... мертв». Другую больше заботила та зависимость между мистером Сноу и его женой, свидетелем которой я стал во время последнего визита, и она шептала: «Вот оно, подтверждение, прямо у тебя под носом — одно пламя гаснет и, уходя, забирает с собой другое».

Меня переполняло множество мыслей — все до одной смутные и полуоформившиеся, — но куда громче остальных был ворчливый голос сомнения, который интересовался, почему миссис Пледжер объявила свою новость таким странным образом и почему в эту минуту она избегала смотреть мне в глаза.

— Сколько времени прошло между смертью мистера Сноу и его жены? — спросил я миссис Пледжер.

Ее пальцы скрутил карман фартука еще туже.

— Три дня, Ваша Светлость, — сказала она.

К хору голосов прибавился новый. «Три дня! — заорал он. — Джон Сноу мертв уже три дня!»

И еще один голос, более далекий, начал тираду: «Вот все твои раздумья на прошлой неделе о круговороте слухов, и никто даже не подумал поставить тебя в известность... Целых три дня, как умер Джон Сноу!»

Тревожный желчный комок возник во мне. Я был не так силен, как минуту назад, но встал, пошатываясь, на ноги и, с трудом набрав воздуха — места для него было совсем немного, — посмотрел своей домоправительнице прямо в лицо.

— Когда похороны, миссис Пледжер? — спросил я и услышал, как трещит под ее рукой шов кармана фартука.

— Похороны были два дня назад, Ваша Светлость.

Я согнулся под немыслимой тяжестью. Весь дом объединился против меня. В ушах моих стоял тонкий звон, и я почти не разбирал слов, продолжавших вылетать из уст миссис Пледжер.

— Вы были нездоровы, Ваша Светлость, — донеслось до меня. — А также доктор Кокс сказан, что вы только больше расстроитесь.

Теперь растущий комок беспокойства подступил к самому горлу. Все тело мое переполняла душевная боль. Я думал: «Мои люди и доктор Кокс решили между собой, что я слаб. Они приберегли

кончину четы Сноу для себя».

Я видел процессию, несущую тела, засыпанные венками; и ни лепесточка от меня. «Разве у меня нет права скорбеть? — подумал я. — Я взрослый человек — почему мне нельзя скорбеть?» Лошади навалились на упряжь, и процессия тронулась.

— Он был моим другом, — сказал я миссис Пледжер. — Я захотел бы попрощаться со старым другом.

Она кивнула мне, затем милосердно развернулась и оставила меня наедине с моим потрясением. И когда дверь за ней затворилась, я почувствовал, что пузырь наконец-то лопнул, и я упал как подкошенный. Я упал, и продолжал падать, и наконец, наконец-то залился слезами.

Я плакал о своем старом, горячо любимом садовнике и его верной жене, что последовала за ним в могилу. Я плакал о том, что не был на похоронах, что их проводили без меня. Я плакал от стыда, что мои собственные люди думали, будто я слаб и безумен и мне нельзя открыть правду. И я плакал из-за этой проклятой боли, что вскарабкалась по лестнице моей грудной клетки и, быть может, задушила бы меня, если б не добрый Коннер. И где-то в этом море слез, полагаю, были слезы о миссис Пледжер — потому

что она вытянула короткую спичку и должна была отправиться ко мне и повиниться в мошенничестве моих людей.

Одной рукой я утирал бегущие слезы, а другая терзала коврик, на котором я растянулся. Думаю, мои пальцы с удовольствием выщипали бы весь ковер, нитка за ниткой. Я трепетал и содрогался, как будто внутри меня сорвался какой-то насос; приходилось хватать воздух жадными влажными глотками, пока мои плечи не заболели. Но когда глаза мои высохли и всхлипы улеглись, я поднялся на ноги и доковылял до зеркала на камине. Оттуда на меня взглянул старик — его розовый ротик был скособочен и дрябл. Брови стянуты вместе над парой стеклянных глазок, и весь его облик казался основательно измятым и измученным.

Но хоть как-то помочь ему было не в моих силах, ибо я был слишком увлечен зрелищем. Как порочно, что в такие минуты я до сих пор очарован каждым содроганием и судорогой, медленным путешествием каждой слезинки по моей щеке. Что даже когда я обращаюсь в прах на алтаре горя, часть меня спокойно наблюдает за каждым моим шагом.

Этим вечером не стоял на голове. Не курил

трубку, не глазел на звезды. Вовсе не покидал своей комнаты. Я просто лежал на кровати и смотрел перед собой.

Я потерял друга, пропустил его похороны и выяснил унизительную правду: я не хозяин в собственном доме.

Я испытывал искушение подойти к переговорной трубе, вызвать их всех до последнего и спросить, неужели они предпочли бы, чтобы я стал тираном с черным сердцем, а не старым полоумным шутом, каковым являюсь.

В конце концов, я взял свою заводную обезьянку, пару раз повернул ключ и смотрел, как она старательно и натужно снимает передо мной шляпу.

11 декабря

Хотя солнце едва взошло, сквозь люки пробивалось достаточно света, чтобы я преодолел свой путь по тоннелю без происшествий. Выйдя наружу у деревни Холбек, я все еще не имел понятия, куда направляюсь, и, лишь завидев дымок из трубы преподобного Меллора, решил нанести ему визит.

Спал я плохо и проснулся рано, с одной лишь мыслью: надо выбраться из этого скверного дома,

пока я не задохнулся в нем. Я быстро оделся в утренний костюм из голубого хлопка и спустился по главной лестнице в пустынный холл; заглянул в гардероб, где захватил бобровую шапку, бордовое пальто и накидку в тон. Прошел через дверь под Великим Лестничным Путем, спустился к тон-

нелям и, без особой цели, направился по юго-западному проходу, чтобы час спустя очутиться на пороге дома преподобного Меллора.

Его Преподобие сам открыл мне дверь с несколько всклокоченным и неряшливым видом; рубашка и жилет были нараспашку, как будто швы наконец-то не выдержали. Шея и щеки покрыты мылом для бритья, а в одной руке он довольно угрожающе сжимал бритву. Пока он стоял там и, моргая, глядел на меня, сквозь пену просочилась бусинка крови.

— Вы порезались, Ваше Преподобие, — сказал я ему.

Он щурился еще пару мгновений, затем его лицо расплылось в улыбке.

— Ваша Светлость, — сказал он. — Я не привык к столь ранним гостям. — Затем: — Входите, входите, входите.

Он провел меня в приемную-кабинет, где обер-

нулся и снова сощурился в мою сторону. Меллор — плотный, коренастый парень, которого природа по странной прихоти снабдила всего лишь мальчишескими ногами, на которых покоится его внушительная фигура, и они торчат из-под нее под острым углом, как ножки табуретки. Его крохотные ступни были обуты в пару восточных туфель и расположились на ковре, что называется, вразлет, как будто его тело собиралось взметнуться в колоссальном балетном прыжке.

— Я должен извиниться, что не узнал вас, Ваша Светлость, — сказал он, — но я без очков.

Он склонился в мою сторону и сощурился изо всех сил, будто оценивая, что от него требуется.

— Чашечку чая? — сказал он, воздев брови.

— Чашечка чая — как раз то, что надо, — ответил я.

Он улыбнулся и кивнул в сторону очага.

— Чайник греется, — сказал он.

Затем снова помахал в воздухе бритвой.

— Теперь, если вы не возражаете, я должен продолжить свое омовение, — и он ускакал вверх по лестнице, оставив меня устраиваться поудобнее.

Перемещаться по комнате было занятием не из простых, поскольку она была забита целой кучей барахла. Книжные полки дыбились почти

на каждом дюйме стен, а наброски, акварели и пожелтевшие вырезки в рамках толкались на оставшемся пространстве. По комнате была раскидана, должно быть, целая дюжина столов, самых разных размеров, заваленных бумагами, коробками и стопками потрепанных книг. Полуобнаженные статуэтки вздымали свои мечи, а причудливые лампы и неустойчивые вазы позвякивали при каждом моем шаге. Даже узкие подоконники были забиты стеклянными украшениями, и солнечный свет подхватывал их розовые и бирюзовые цвета, разливая по полу.

Я осторожно пробирался через эти джунгли старинных безделушек, опасаясь задеть какой-нибудь угол стола или торчащий фолиант и вызвать ужасный обвал. Но наконец в поле зрения показался очаг, и я очутился на полянке между просевшей каминной полкой и двумя креслами, где и занялся тем, что снял верхнюю одежду. Огонь разгорался, приступая к своим утренним хлопотам, и я хочу признаться, что испытал приступ зависти к хозяину столь радушной комнатки.

Я праздно изучал полки с книгами, когда вернулся Его Преподобие. Теперь он был должным образом вычищен и застегнут, а его глаза бла-

гополучно плавали в очках. Когда он кивнул, спокойно готовясь заговорить, мне пришло в голову, что в нем нет ни капли исступленности Игнациу-са Пика. Преподобный Меллор, решил я, хранит своего Господа за семью замками.

— Итак, Ваша Светлость, — сказал он, глядя на меня в упор, — я полагаю, вы позавтракали?

Когда я сказал ему, что на самом деле не завтракал, его глаза распахнулись во всю ширь, почти заполнив стекла очков. Недоверчивая улыбочка заиграла на его губах.

— Ваша Светлость, полагаю, вы сбежали из дому, — сказал он.

Наставляя убогих и обездоленных прихожан, он, безусловно, научился зрить в корень положения.

— Мне нужно было на какое-то время уйти из дома, — сказал я ему и добавил: — Я оставил Клементу записку.

— Ну, в таком случае, он не будет беспокоиться. Скажите, вы хотите, чтобы я пожарил ваш тост, или поджарите его сами?

И вскоре мы сидели в креслах, склонившись вперед, как мальчишки вокруг костра, и каждый держал перед собой вилку для тостов с насаженной на конце сдобной булочкой. Его Преподобие

заварил чайник пахнущего дымком чая и открыл банку айвового желе (я решил, что это подарок от благодарного прихожанина). Булочки с чаем были превосходны, и, не видя особых причин останавливать процесс, мы продолжали набивать животы почти целый час, пока самое количество поглощенного теста и чая не принудило нас откинуться в креслах. Отдыхая, я чувствовал себя таким же круглым и запыхавшимся, как и сам Меллор, и спрашивал себя, уж не булочки ли с айвовым вареньем послужили причиной его характерных очертаний. И я подумал, что, сидя бок о бок, мы вдвоем напоминали пару кружек-тоби[11].

Его Преподобие выразил сожаление, что я пропустил погребальную церемонию четы Сноу, и я заверил его, что никто так не сожалеет об этом, как я сам. Я поблагодарил его за пилюли от ревматизма, и тогда он спросил меня, насколько они мне помогли.

— Откровенно говоря, думаю, ничуть не помогли, — сказал я ему. Он кивнул.

— Вот и мне тоже, — ответил он.

Мы все еще раздумывали об этом, когда, со-

---

[11] Примечания: 11

Популярная в Англии кружка в форме толстяка в костюме XVIII века

вершенно неожиданно, Меллор выпрямился в своем кресле, издал странное, приглушенное восклицание и приложил указательный палец к виску. Он вскочил на ноги и с замечательной живостью проложил путь между заваленными столами и свисающими растениями, достиг комода, выдернул пару ящиков из гнезд — до конца — и вернулся, держа их под мышками и сжимая в зубах большое увеличительное стекло.

Он вкатился обратно в кресло, пристроив ящики на колени. Его голова исчезла внутри. Оттуда донесся шорох и стук. Вынырнув обратно, он выглядел очень воодушевленным и держал в руках любопытного вида предмет, который и передал мне со словами:

— Что вы об этом думаете, Ваша Светлость?

Этот предмет был плоским и довольно тяжелым, около восьми дюймов на четыре. Белый и гладкий, словно отшлифованный морской волной.

— Это кость? — спросил я.

— Оценка «отлично», — объявил Меллор. — Итак, Ваша Светлость, будут ли предположения о том, что за животное?

Должно быть, я с минуту глазел на холодную старую кость, будто она могла шепнуть мне под-

сказку, но, наконец, был вынужден признать, что не имею ни малейшего понятия.

— Это челюстная кость... — сказал Его Преподобие, расширив глаза, — гиены. И довольно здоровой, между прочим.

Он вытянул перед собой руки, на расстоянии фута друг от друга.

— Голова примерно такого размера, — заверил он меня, поднимая брови. Затем уставился в пространство между руками, настолько глубоко погруженный в свои мысли о гиене, что я испугался, как бы он не запрокинул голову и не издал ужасный вой.

— Найдена чуть больше года назад в ваших собственных пещерах в у Кресвелла.

— Ну и ну, — сказал я, заметив, что киваю вслед за ним.

Меллор подкинул мне другой обломок кости размером примерно с ту бритву, которой он недавно размахивал. Я повертел эту штуку в руках. Она была значительно легче, чем предыдущая, и, как мне показалось, слегка отдавала бараниной.

— Взгляните поближе, — сказал Его Преподобие, передавая мне увеличительное стекло. Я навел его на тонкую кость, и сквозь выпуклость

линзы мне удалось разобрать несколько рядов мелких царапин вдоль края кости, чем-то напоминающих дюймовые деления на линейке или штриховку на карте мистера Сандерсона.

— Для чего они? — спросил я.

— Может, украшение... Какое-то художество. Кто знает.

Должен признать, я был немного поражен небрежным тоном Его Преподобия, и, конечно, он тут же меня раскусил:

— Вы не представляете, Ваша Светлость, сколь многое из того, что мы привычно называем «историческими фактами», на самом деле не более чем домыслы. Спустя тысячу лет какой-нибудь малый найдет некий рисунок из наших дней. Может быть, он даже с ходу определит, что это рисунок. Но когда он подойдет к вопросу, собственно, для чего он... вот тут-то, согласитесь, недолго потеряться в догадках.

Я принял его довод, дав себе зарок на досуге подумать об этом еще. И как свинья-ищейка в поисках трюфелей, Его Преподобие снова зарылся в своих ящиках с костями. Экземпляр за экземпляром являлся на свет и предлагался мне, и, пока я изучал один, он судорожно выкапывал другой, так что на моих коленях вскоре выросла

целая гора. Все они, как уверял Его Преподобие, когда-то принадлежали какой-нибудь твари, которая бродила по нашей местности много веков назад. Бизон, олень, мамонт, дикая лошадь... они начинали тяготить меня. Когда я ерзал в кресле, они терлись друг о друга, издавая жуткий царапающий звук, но Его Преподобие был слишком глубоко погружен в прошлое, чтобы замечать неудобство, которое терзало меня в настоящем.

В какое-то мгновение я спросил его, какими инструментами он пользовался, чтобы раскопать эти останки.

— О, всего лишь чайной ложкой и маленькой щеткой, — сказал он мне, продолжая свои поиски. — Понимаете, пол пещеры — всего лишь наносы. Дают превосходную сохранность. Но мы бы даже не заподозрили, что там внизу, если бы фермер, который укрывал свой скот в одной из пещер, не наткнулся на пару окаменелостей.

Он остановился на секунду, поднял голову и поглядел на меня поверх своих ящиков.

— Вы ведь не видели пещер с тех пор, как в них навели порядок, Ваша Светлость?

Я сказал, что не видел, и признался, что не могу вспомнить, был ли я вообще когда-нибудь непосредственно в них, хотя мимо проезжаю

довольно часто.

— И это вы, такой подземный человек, — сказал он. — Что ж, надо идти. Да, конечно, надо, — и он принялся кивать. — Мы должны идти немедленно.

Он подождал, пока я покиваю вместе с ним.

— Как чудесно. Я покажу вам ваши собственные пещеры.

Теперь он кивал головой так яростно, что два ящика на его коленях начали скакать во все стороны. Потом вдруг остановился и поднял в воздух палец, чтобы мы попридержали коней.

— Прежде чем мы отправимся, — сказал он серьезно, — последняя кость.

И с изрядной осторожностью он преподнес мне почти круглый кусок кости. Совсем маленький, но тяжелый как камень.

— А это кто? — спросил я Его Преподобие.

— Шерстистый носорог — ответил он с очевидной гордостью. — Очень редкий.

— Носорог в Ноттингемшире? — спросил я его.

Он одарил меня самым уверенным, самым мудрым кивком. Я был просто поражен.

— Я хотел бы спросить, если не возражаете, Ваше Преподобие, — откуда вы знаете, что это шерстистый носорог?

Он указал на ряд книг.

— Все там, — сказал он и слегка вздохнул, как будто припомнив каждый час утомительного чтения, многие месяцы, с головой проведенные в книгах. — Но, знаете, иногда необходимо задействовать еще вот это, — и он постучал сбоку по своей круглой голове.

— Разумеется, — сказал я, с каждой минутой все менее уверенный, о чем именно идет речь. — И как, по-вашему, мог на самом деле выглядеть шерстистый носорог?

— Ну, стало быть... — Его Преподобие не стал спешить, переваривая этот вопрос. Он уставился вдаль, словно сквозь толщу всех этих веков. — Я бы сказал, что он выглядел примерно так же, как современный носорог... только волос на нем было побольше.

С сожалением должен отметить, что в эту минуту археологи несколько опустились в моих глазах. До такой степени, что я задумался, не могли бы и мы с миссис Пледжер, при помощи книжки-другой, оказаться не меньшими доками в археологии, чем сам Меллор.

Его Преподобие задал такой впечатляющий темп, что переход через поля к пещерам занял у нас менее получаса. Единственным, что нас

сколько-нибудь серьезно задержало, были решетчатые ворота, закрытые на висячий замок.

Вход в пещеры, расположенные на угловатой плите на высоте около пятидесяти футов, издалека напоминает ухмылку идиота. Мы постояли у подножия крутого подъема, который вел к пещерам. Его Преподобие задрал нос и понюхал воздух.

— Прохладно... — сказал он.

Не успел я это обдумать, как он ринулся вверх по песчаному склону, оставляя пыльный след. Что ж, мне ничего не оставалось, кроме как поспешить за ним, и я пустился вперед своей косолапой рысью. Вскоре я нагнал его на подъеме, где обрел счастливую возможность близко познакомиться с его обширным тылом и внезапно получил все основания надеяться, что этот внезапный порыв не отнял у него последние силы.

Оба мы были плотно укутаны в пальто, так что наш недолгий галоп произвел изрядное количество тепла, и, когда мы наконец вскарабкались на самый верх, мы уселись на скалистый выступ у входа в пещеру, чтобы поглядеть на речку внизу и постараться прийти в себя.

Наше дыхание было слишком прерывистым, чтобы мы могли поддерживать беседу, и на моем

лбу еще не просохла испарина, когда Его Преподобие сунул руку в свой рюкзак и вынул оттуда небольшую масляную лампу.

— Ну что, пойдемте немного осмотримся? — сказал он и поставил лампу на землю между нами. Затем из кармана жилета извлек фарфоровый коробок в форме херувима, голова которого откидывалась на петлях, обнаруживая спички, спрятанные внутри. Меллор достал одну и чиркнул ею по нижней стороне коробка.

— Укажи нам путь, дитя, — сказал он, когда спичка, вспыхнув, ожила.

Мы начали спуск по сырому, узкому проходу, проникающему прямо в скалу. Как только мы вступили туда, я почувствовал, как температура значительно упала, и каждый вдох немедленно превратился в сущее проклятие для груди.

— Неудивительно, что кости так хорошо сохраняются, — заметил я Меллору. — Это место похоже погреб для льда.

Держа лампу перед собой, Его Преподобие показывал дорогу, и звук наших шагов возвращался к нам, отражаясь от холодных зловонных камней. Не далеко мы ушли, как тоннель вокруг нас начал сужаться. Крайне неприятное ощущение. Но мы продолжали идти, заползая все глубже внутрь

земли, один осторожный шаг за другим, пока необъятная ширь Меллора не перекрыла весь свет, оставив лишь случайные отблески, чтобы освещать мой путь, и я был вынужден уныло плестись Его Преподобию вослед, поминутно спотыкаясь. Вскоре руки мои сами собой протянулись вперед, чтобы я не ударился о торчащий выступ, а мои пальцы ощупывали каменные стены вокруг — иногда сухие, иногда скользкие от мха. Я погрузился в абсолютную тьму и ковылял так неуклюже, что, когда Меллор внезапно остановился перевести дыхание, я налетел прямо на него.

Так, спотыкаясь, мы прошли, наверно, всего ярдов тридцать, когда потолок тоннеля опустился еще на пару футов. Если раньше он оставлял несколько дюймов над нашими головами, но теперь давил прямо на нас, так что мы были вынуждены идти, согнувшись пополам, чтобы не раскроить головы. Я поймал себя на том, что жадно поглядываю через плечо, в сторону зазубренного кружка света — входа в пещеру, — каждый раз отмечая, что он еще капельку уменьшился, пока не стал всего лишь далеким угасающим солнцем.

Не могу сказать, что до этой минуты испыты-

вал большое удовольствие от нашей подземной экскурсии, однако надежда на таковое была полностью уничтожена, когда я понял, что захвачен совершенно нелогичным, но глубоко укоренившимся страхом. Безо всякого предупреждения меня заполонила уверенность, что сейчас я буду отрезан от того драгоценного кружка света. Мое дыхание мгновенно ускорилось до пыхтения загнанной собаки, сердце бешено заколотилось о прутья грудной клетки. Неизбежный обвал собирался отрезать нас. Безликий противник помышлял нас запереть. Тот же чудовищный страх охватил меня, когда я входил в гостиную сестер Дубли, но здесь не было их добрых слов, чтобы утешить меня, не было их тихой уверенности, чтобы меня успокоить. Я был полон трепета; он болезненно оживлял во мне каждую мышцу. Мой собственный детский внутренний голос умолял отказаться от путешествия, броситься по проходу назад. «Опасность! — настаивал голос. — Беги к свету, пока он не исчез!»

Что ж, я сделал все, что в моих силах, чтобы заглушить этот голос. Я заткнул уши и стиснул зубы. Я из кожи вылез, чтобы вернуть дыхание в норму, повторяя себе снова и снова: «Ты в порядке, старина. Ты в порядке». То была отчаянная

и жалкая борьба, но я принял твердое решение, что разум должен взять верх. Когда, наконец, мне удалось немного прийти в себя, удалось на миг достичь почти полного равновесия, я обнаружил, что на несколько ярдов отстал от Меллора с его лампой. У меня совершенно пересохло во рту. Я тяжело сглотнул и поспешил во тьму.

Я продолжал идти, вытянув руки перед собой (они напоминали скорее усики насекомого, чем конечности человека). Примерно каждые пять шагов я останавливался и проводил пальцами по стенам тоннеля — почувствовать, много ли вокруг меня пространства для дыхания. Казалось, что лишь этот ничтожный жест, когда мои ладони упираются в скалу, не дает ей сомкнуться на мне и раздавить меня до смерти.

Дважды Его Преподобие спотыкался. Оба раза он восклицал: «Осторожно». Слова уносились по тоннелю, сперва возвращаясь одним эхом, затем вторым, третьим, четвертым, пока все они не сливались в безумный оглушающий рев. Когда я услышал, как он поскользнулся в третий раз, опять воскликнув: «Осторожно», я чуть не сошел с ума. В тоннеле не хватало места и без этих сумасшедших голосов, летающих повсюду.

Потолок тоннеля теперь опустился до такой

ничтожной высоты, что буквально упирался нам в спины, так что оба мы практически ползли на своих жалких руках и коленях. Время от времени я говорил себе: «Я развернусь и мигом выберусь отсюда», при этом все меньше надеясь, что для подобного маневра достаточно места. Голова моя почти лопалась от давления, а оба плеча терлись о скалу, когда мне показалось, что я чувствую легкое дуновение ветерка на своем лице.

В следующую минуту мы с Меллором выкарабкались из тоннеля, распрямились и стояли, потягиваясь и топая ногами. Мы вылезли в какую-то пещеру, возможно, тридцати футов в самом высоком месте, и, когда Его Преподобие поднял лампу над головой, ее золотистый свет озарил весь купол. Пещера нависла над нами, как огромные океанские волны, замороженные в ту секунду, когда они уже были готовы обрушиться.

Должно быть, я стоял там, зачарованный, несколько минут, пытаясь осмыслить это место. Повсюду было красновато-желтое свечение, будто бы исходящее из самого камня. Крохотные ручейки размыли стены зала, выточив из них скалистые пальцы и создав полное впечатление, что великан поймал нас в свою пригоршню.

Его Преподобие нашел подходящий валун на

полу пещеры и присел на него со всем изяществом. Он поставил масляную лампу на землю рядом с собой и сложил руки с видом собственника, пока я продолжал расхаживать вокруг него, вбирая каждую деталь этого таинственного подземного места.

На мгновение пламя лампы качнулось, я увидел, как дрогнула моя тень на стене, — и это возымело на меня сильное, почти гипнотическое действие, как будто тень принадлежала не мне, а моему далекому предку, скачущему туда-сюда. И я подумал: «Он пытается заколдовать меня каким-то древним танцем».

Свет в этой пещере был таким ценным, а тьма так воинственна, что тень, которая вздымалась и опадала передо мной, казалась весьма уместной, а ее присутствие было, по крайней мере, столь же убедительным, сколь и мое собственное.

Его Преподобие обхватил руками колени, откинулся назад на своем камне и уставился в потолок.

— Ну, что вы думаете, Ваша Светлость? — услышал я его шепот, и эти слова тут же были подхвачены стенами пещеры и раскиданы повсюду. Мой ответ застрял в горле из страха, что может сотворить с ним пещерная акустика. Сло-

во, слишком резко произнесенное здесь, может породить из разлетевшихся голосов настоящий бедлам. Но я молчал еще и потому, что необычная красота этого места почти лишила меня дара речи.

Высоко наверху, там, куда Его Преподобие устремил свой взгляд, в камне были вкрапления минералов. Они тихо поблескивали на свету. Холодный воздух уже пробирался ко мне, исследуя каждую щелочку на ботинках и пальто, и я начал чувствовать себя немного неуютно среди однородной бесформенности пещеры.

Наконец я сказал:

— Чем-то похоже на то, как я представляю себе поверхность луны.

Его Преподобие улыбнулся и кивнул мне со своего каменного стула.

— Я и сам часто так думал, — сказал он.

Я спросил его, все ли пещеры такие же величественные, и Его Преподобие сказал мне, что эта была гораздо больше и необычнее остальных, но что когда-то все они служили убежищем для тех или иных созданий.

— А только ли животные ими пользовались? — спросил я.

— О нет, — сказал Его Преподобие. — Когда-то

здесь жил Первобытный Человек. В этом нет сомнений.

Я попытался представить себе Первобытного Человека, одетого всего лишь в несколько клочков шкуры, живущего своей Первобытной Жизнью… выползавшего в долины древнего Ноттингемшира для охоты на диких бизонов и оленей (и шерстистых носорогов) и проводящего ночи в холодной, сырой темноте. На секунду я даже представил туши этих бестий, разложенные на полу пещеры, и грубые орудия, которые мой первобытный предок мог использовать, чтобы раздирать их плоть.

Вряд ли я мог выбрать худшее время для подобных мечтаний. Эти отвратительные картины кровавых зверств были все еще слишком живы в моем мозгу, когда Его Преподобие поманил меня пальцем и уступил мне половину своего камня. Я присел рядом с ним и раздумывал, что бы могло означать загадочное выражение его лица, когда он протянул руку к лампе и прошептал:

— Смотрите внимательно, Ваша Светлость.

И язычок огня на фитиле лампы начал мерцать, слабеть, как будто постепенно задыхаясь. Со всех сторон свет медленно вытекал из пещеры, уходя обратно в землю. Крохотное пламя лампы, треща,

съежилось до одной капельки света, и пещера вновь спокойно утвердила свою власть над нами. Сюда вернулись тысячелетия тьмы до последней секунды. Краткие мгновения света, что мы принесли с собой, были изничтожены. Скованный ужасом, я смотрел, как пламя угасало и, вспыхнув на прощание, исчезло.

Я был один в глубине скалы. Света не было. Не было даже воспоминаний о нем. Только навалившаяся тьма.

— В чем дело? — прошипел я Меллору, и внезапно ожила тысяча извивающихся голосов.

Он ничего не сказал. Его больше не было рядом. Скала не давала мне двигаться.

— Хватит, Меллор, — настаивал я, но язык мой заплетался от страха. — Ради бога, старина, зажгите спичку.

Мой голос вернулся ко мне хором тарабарщины, прежде чем медленно пожрать самого себя. Тогда не стало ничего, кроме темноты и тишины. Ничего, кроме глубины и холодного камня.

Наконец я услышал, как Его Преподобие говорит:

— Держитесь. Еще минута... Ага, вот теперь посмотрите наверх, Ваша Светлость.

Что ж, я сделал, как мне сказали. Сперва —

ничего. Слепота. Ни звука, кроме отчаянных вздохов, с которыми мой собственный рот глотал воздух. Потом где-то наверху краем глаза я заметил мерцание звезды. Затем она пропала, но, пытаясь разыскать ее снова, я нашел другую, чуть дальше. Потом еще одну. Звезды возникали одна за другой. Они благосклонно мигали в небесах, и каждая была посланником надежды. И постепенно открылась бледная луна, мирно налилась призрачным светом и заняла свое место среди звезд.

— Теперь видите? — спросил меня Меллор.

— Да. Да, я вижу, — сказал я. — Красиво… Правда очень красиво.

С нашего общего каменного сиденья мы продолжали глядеть вверх, на звезды, пока, наконец, я не сказал:

— Боюсь, я не понимаю.

— Там отверстие. Природный дымоход. Вот почему пещера называется Булавочной Пещерой. Дырочка всего лишь с булавочную головку, но ее достаточно, чтобы проник свет и хрусталь в скале оживил его.

Что это, милосердие или нет? Я пытался понять это, глазея вверх на луну, когда Его Преподобие чиркнул спичкой. Свет был чересчур ярким для

меня; я был вынужден прикрыть глаза от ослепительного блеска. И когда опять зажглась лампа, я снова оказался в странном красноватом свечении пещеры. Небеса над головой обратились в камень. Звезды были смыты.

— Пошли? — сказал Его Преподобие, кивая. — Оп, — и он помог мне встать.

Казалось, стрелки на часах моего разума замерли, а потом ожили в пламени лампы. Время вновь захлестнуло и истощило меня.

Его Преподобие поднял свою лампу, улыбнулся и пошел к тоннелю, и мне ничего не оставалось, как поплестись за ним, готовясь к долгому обратному пути. Но пока Меллор протискивался в тоннель, забирая с собой свет, я в последний раз взглянул на это место.

Я чувствовал, будто находился в дюйме от Первобытного Человека. Провел долю секунды в его шкуре.

Путешествие обратно по тоннелю, к счастью, обошлось без приключений, и, пока мы шли по нему, мне удалось более или менее унять свои опасения, что Его Преподобие может как-то умудриться застрять между стен тоннеля. Со временем тоннель начал расходиться вокруг нас, а свет от входа образовал легкий ореол вокруг головы Его

Преподобия. И раза в два быстрее, чем мы попали внутрь — так мне показалось, — мы вышли на свет божий.

Вид от входа в пещеру, несмотря на холод и ветер, был достоин восхищения — полон цвета, перспективы и глубины. Я оглядывал долину из края в край, впитывал ее богатый дух, пытаясь представить, как она выглядела, заполненная огромным ледником. Я воображал эту крупную глыбу льда, подобную громадному серебристому кораблю, лежащему на стапеле, спокойно ожидая спуска на воду. Медленно, век за веком, он сползал к морю.

Я посмотрел на часы — всего лишь середина утра, хотя за это время я, похоже, пережил столько, что хватит на целый год. Меллор хлопотал, убирая свою лампу, и я подумал, что, наверно, пора возвращаться, а то Клемент снова может начать рассылать поисковые отряды.

Так что мы пожали друг другу руки, и я поблагодарил его за гостеприимство и за экскурсию в пещеры.

— Всенепременно заходите еще, Ваша Светлость, — сказал он.

— Зайду, — уверил я его, отправляясь в путь через поле.

13 декабря

Кажется, чем меньше я ем, тем энергичнее становлюсь. Каждая отвергнутая закуска дает мне дополнительный заряд бодрости. Все эти годы я думал, что именно еда поддерживает меня, она — топливо для огня моего тела. Теперь я в этом не уверен. Недавно я ничего не съел за целый день, а проснувшись на следующее утро, был свеж как огурчик. Часы приема пищи стали пролетать мимо, не встречая даже намека на аппетит. Иногда одной мысли о бутерброде достаточно, чтобы меня затошнило.

Но нельзя сказать, чтобы я морил себя голодом. Вчера я съел грушу и два печенья. Сегодня я уже отведал пирога с луком и не удивлюсь, если до вечера съем еще что-нибудь. Дал зарок отказаться от мяса любых видов и должен сказать, что чувствую себя только лучше. Умственные способности изрядно обострились. Теперь каждый день бывают мгновения, когда я становлюсь столь чист, что начинаю возноситься.

Был вынужден упразднить обычай стоять на голове, к своему горькому разочарованию, поскольку уверен, что сила тяжести — естественный способ привлечь дополнительную кровь

к мозгам. Недавно я так успешно погрузился в раздумья, что на пару мгновений задремал. А когда пришел в себя, я оказался перевернут на девяносто градусов — перешел из вертикального положения в горизонтальное, захватив по пути штору и элгинскую вазу. Миссис Пледжер настоятельно потребовала, чтобы я прекратил это раз и навсегда.

Потому я выбрал другое средство для приобретения сил — «контрастную обработку», как называл ее мой отец, что в переводе на обычный английский означает прыгать из горячей ванны прямо в холодную. Творит чудеса с цветом лица, заставляя все тело прямо-таки светиться. Клементу идея не по душе — полагаю, она противоречит его принципам, — но я с гордостью отмечаю, что в свои преклонные годы учусь стоять на своем, и теперь каждый день он наполняет для меня одну ванну обжигающей водой, а вторую — ледяной. К сожалению, в моей ванной комнате только одна лохань, так что холодную приходится устраивать в комнате через коридор.

Не скажу, чтобы прыжок в холодную ванну очень уж расслаблял, особенно когда всего лишь секунду назад вы буквально варились, но нельзя отрицать, что он пробуждает все тело одним

всемогущим разрядом. Иногда моему сердцу требуется минут двадцать, чтобы вернуться к стабильной поступи.

От одной ванной до другой — пробежка в добрых пятьдесят или шестьдесят ярдов, и вся территория огорожена простынями, висящими с обеих сторон. Это стало необходимым после досадного происшествия: одной горничной случилось выйти из-за угла со стопкой полотенец именно в тот момент, когда я во весь опор несся по коридору. Со страху бедняжка чуть не прыгнула с лестницы, и Клемент был вынужден отвести ее в мой кабинет и отпаивать бренди. Нам пришлось отправить ее домой. Но вид голого старика может серьезно всполошить особу в столь нежном возрасте. Особенно если он со всех ног мчится в ее сторону.

И потому, как я уже сказал, теперь мы предусмотрительно вешаем простыни. И, чтобы очистить пространство, прямо перед моим выходом Клемент ударяет в небольшой гонг.

Сегодня днем, затеяв еще один обход, я сперва направился вдоль Восточного Крыла, а затем рискнул углубиться в другие коридоры. Ловко петляя и поворачивая, мне удалось найти незнакомый лестничный пролет, а поднявшись по

нему, обнаружить маленькую кладовку, которая не попадалась мне раньше. Она была не больше чем десять футов на двадцать, располагалась там, где когда-то жили слуги, и содержала лишь груды сундуков и коробок да разломанный остов кровати. Содержимое коробок по большей части было изломано или в ужасном состоянии. В одной был древний ковер, засыпанный горошинами перца, в другой — гамак и несколько пар сплющенных ботинок. Еще были шахматы из слоновой кости без двух фигур, помятый кубок и китайская шляпа.

Честно говоря, я и сам не знаю, что ищу в этих своих экспедициях, но я убедил себя, что в каком-то забытом уголке дома меня ждет предмет, который объяснит мой душевный переполох последних дней.

Какую бы форму ни принял этот загадочный объект, можно с уверенностью сказать, что сегодня он не был обнаружен, хотя мне попался весьма любопытный деревянный микроскоп, завернутый в полотно, и три коробки предметных стекол. Не имею понятия, кому они принадлежали. Не помню, чтобы приобретал их сам. Тем не менее я принес весь набор в спальню, вполне довольный своей маленькой находкой.

Уселся за стол и достал стекла из их аккуратных коробочек, но, развернув упаковочную бумагу, я обнаружил, что большинство треснули или раскололись и сохранился только один комплект. На коробке значилось:

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
Пчела Медоносная
Apis Mellifica
- ТРУТЕНЬ -

Каждое стекло имело свою метку, обозначая одну из частей тела пчелы... «третья нога», «жвало», «заднее крыло» и так далее.

Я поднял одно из стекол к свету и даже без микроскопа смог разглядеть крохотную деталь давно мертвого трутня. На самом деле каждое стекло состояло из двух прозрачных пластин, начиненных кусочком пчелы, залитого, как мне показалось, чем-то вроде растекшейся капли ее же собственного золотистого меда.

Я смахнул с микроскопа пыль и пододвинул стол к окну, где света было несколько больше.

Сам прибор, не более десяти дюймов в высоту, выточен из прекрасного темного дерева — возможно, ореха, — приземистый, но округлый, как крохотная стойка перил; с одного конца он снаб-

жен тремя изогнутыми медными ножками. К каждой ножке приварено толстое медное кольцо, повернув которое можно увеличить или уменьшить высоту микроскопа, позволяя смотрящему навести резкость.

Я положил листок бумаги на стол, выбрал стекло и сунул его под линзу. Микроскоп холодил мешок под глазом — ощущение, пробудившее воспоминания о моем старом телескопе. Но с помощью этого инструмента я смотрел не вверх, вверх, вверх на далекие звезды, а вниз, очень глубоко вниз, и внезапно оказался в ужасной компании колоссальных конечностей насекомого.

Одинокое крыло было изрезано прожилками, как лист, и больше походило на сооружение из стекла и стали, чем на орган живой твари.

«Первая нога» под микроскопом стала щетинистой и мускулистой... выпирала узлами и сочленениями всех видов. Огромная пружина, позволяющая этому малому то приземляться, то подлетать высоко в воздух...

Таким-то образом я рассмотрел каждую составляющую расчлененного трутня. Тщательно изучил его; воссоздал его, собрав воедино одну мохнатую конечность за другой. Он загромождал мой разум и казался весьма обозленным, зализы-

вая раны от скальпеля.

Есть в нем что-то, что мне не по душе. Он недружелюбный тип. Поглядев на него в микроскоп пять или десять минут, я был вынужден побегать по комнате, чтобы выбросить его из головы.

Наконец, убрав стекла в коробочку, я добавил их вместе с микроскопом к своему медленно растущему алтарю. В настоящее время он состоит из:

карты Сандерсона;
записки Пика;
человека из «Целительства в Древнем Китае»;
«Анатомии» Грэя (и прочих книг);
заводной обезьянки;
отцовской трубки в форме башмака.

Показания мистера Хендли

Наверно, было еще совсем рано, потому что я добрался только до Пайка — это сторожка совсем рядом с Кламбером, в самом начале моего маршрута. Я бросил им письмо и уже вскарабкался обратно на велосипед, когда вдруг увидел его у входа в тоннель; он стоял и глядел, и не говорил ни слова. От его молчания мне стало немного неуютно, так что я сказал: «Доброе утро», чтобы

попытаться привести его в чувство. Он кивнул мне и медленно подошел. Он подошел прямо ко мне и начал изучать мой велик. Задавал всяческие вопросы, вроде того, удобно ли сиденье и какую скорость эта штуковина может развить.

Помню, как он посмотрел на меня, ни с того ни с сего забеспокоившись, и спросил, мол, а не прокатиться ли нам по тоннелю. Сказал, что мы могли бы кататься по очереди или я могу сидеть на седле, а он будет крутить педали. Ну, нарываться на неприятности я не хотел, но отказался, оттого что никогда не любил тоннелей, да и вообще темных мест, раз на то пошло, а потому без боя он меня туда бы уж точно не затащил. Да и потом, впереди меня ждал целый маршрут, так что времени одалживать свой велик у меня тоже не было.

Ну, конечно, он не был очень доволен моим ответом. Он опять совсем поник. Затем спросил, можно ли ему посидеть на нем минутку, чтобы почувствовать, на что это похоже. Сказать по чести, меня все еще донимали подозрения. Я думал, вдруг он на нем укатит. Но я подумал, кто я такой, чтобы не давать Герцогу сидеть на моем велике? Так что я пустил его попробовать.

Он посидел немного, держась за руль, покивал

про себя и сказал, что это и впрямь замечательно. Сказал, что он всегда мечтал быть почтальоном, и довольно завистливо поглядел на мой мешок. Похоже, он немного затосковал, что, надо сказать, порядком меня озадачило. Я-то думал, что человек с его деньгами может быть кем пожелает.

Короче, я опять сказал ему, что мне правда надо ехать по делам, и он в конце концов слез с велика и передал его мне. Он попрощался, повернулся и пошел своей дорогой. Не топтался на месте, это уж точно. Когда я взглянул на него в последний раз, он уже исчезал в своем тоннеле. Это был единственный раз, когда я с ним встретился. На вид чудной такой старикашка.

Из дневника Его Светлости

15 декабря

Он весь состоит из корней, веток и листвы, с ярко-красными ягодами вместо глаз. Он скрипит и кряхтит, ковыляя вперед, и распугивает птиц. Сколько я себя помню, он прочесывает Дебри, круглый год крадется от дерева к дереву, поджидая мальчишку, который подойдет достаточно близко, чтобы его можно было утащить в подлесок.

Человек из колючек и зарослей ежевики, вот он каков — большой мерзкий узел. Но когда он захочет, Ягодник может рассыпаться на сотню различных частей, и глаз наблюдателя не увидит ничего, кроме таких же листьев и сучков, какие устилают каждый лес. Но стоит наблюдателю пройти, как Ягодник начинает собираться. Клочья коры медленно сползаются по земле и вновь соединяются друг с другом; холодный ветер тасует их, пока не придаст форму. Плети ежевики обвиваются вокруг и связывают его, пока он снова не станет высоким и кряжистым.

Иногда на нем — рога из сломанной ветки,

иногда — корона из шипов. Когда-то он костляв, сотворен из ободранных сучьев. В другие дни у него живот из плюща, кишащий червями. Сегодня у него мшистые брови, завтра — шляпа из осиного гнезда. Всегда разный, полный насекомых, сооруженный из того, что попалось под руку.

Но вы не услышите от него даже шепота. Во рту у Ягодника нет языка. Когда он зол, он просто принимается вертеться. Он вертится так быстро, что затягивает целый лес. Он вертится, пока весь мир не превратиться в танцующий вихрь шелестящей листвы.

Всю мою жизнь Ягодник владел Дебрями. Он такая же часть этого места, как деревья. Мать и отец истово верили в него. Они познакомили меня с ним, когда я был совсем крохой. Помню, они говорили, что, если я забреду на его территорию, он набросится на меня и высечет хлыстами своих рук. Кажется, спустя год или два я предположил, что Ягодник, в конечном счете, является всего лишь выдумкой, но они оба посмотрели на меня очень мрачно и медленно покачали головами.

Ребенок — мастер пугать себя, его ум натаскан представлять величайшие ужасы, и теперь уже нельзя сказать, какая часть моего Ягодника

унаследована мной от родителей, а какую вообразил я сам. Конечно, в моей голове сохранилась живейшая картина: маленький мальчик (очень похожий на меня), бегущий через Дебри. На его теле не осталось плоти, потому что он был пойман и выпорот бичующими руками Ягодника. Все мое детство эта картина служила предупреждением, чтобы я держался подальше от этого леса.

Я был так убежден в существовании этого ужасного создания, что раз или два мне казалось, что я вижу его, скрюченного в кустах на краю леса, — он наблюдает, как я спешу мимо. Много лет спустя я понимаю, что до сих пор обхожу за полмили это кошмарное место. Не то чтобы я всерьез боялся столкнуться с каким-то существом из листьев, но всегда нахожу туманную отговорку, чтобы пойти другой дорогой. От вурдалаков, населяющих наше детство, не так просто избавиться.

Сегодня утром я совершал свой моцион с молодым терьером, который вел себя безобразно. До такой степени, что я потерял всякое терпение и взял его на поводок. Видимо, я замерз или промок и хотел поскорее попасть домой, потому что я решил вернуться через Дебри.

От старого леса нас отделяло около тридцати ярдов, и я старался занять свой ум пустяковыми

мыслями, какие только мог придумать, когда до моего сознания дошло, что на меня нацелена пара глаз. Я чувствовал, как их взгляд блуждает вверх-вниз по моей спине. Я повернулся и внимательно осмотрел лес от одного края до другого. Большинство деревьев стояли без листьев, все они были по-зимнему серыми, и мне почти удалось убедить себя, что я ошибся, когда я заметил, что из кустов выглядывает свирепое лицо. Я отскочил назад и чуть не споткнулся о пса, отчего тот принялся с лаем прыгать вокруг.

Лицо в кустах посмотрело налево и направо. Листья вокруг него подергивались. Затем все ветви разом с шелестом раздвинулись, и он выбежал из леса. Он казался сплошным пятном молотящих плетей, да я бы и сам побежал, если бы не запутался в поводок дурацкой собаки. Ягодник приближался ко мне, рассекая высокую траву. Его шаги издавали ужасный треск. После стольких лет, подумал я, Ягодник устал ждать и вышел из укрытия, чтобы утащить меня.

Я неистово пытался распутаться, когда увидел, что на самом деле Ягодник направляется вовсе не ко мне, а бежит вниз по холму в сторону озера. Еще я заметил в его походке что-то болезненное, какой-то недостаток, словно одна нога короче

другой. И в эту секунду, когда я понял, что это не Ягодник, а просто убегающий хромой мальчишка, я обнаружил, что вся моя храбрость вернулась ко мне, что у меня ее в избытке.

— Эй! — закричал я ему вослед. — Эй, ты!

Но он, не останавливаясь, торопливо хромал от меня и через минуту ковылял по мосту через озеро, а мы с лающей собакой остались далеко позади. Надо сказать, я не особенно люблю бегать и, скорее всего, отказался бы от погони, если бы в это мгновение не заметил одного из своих сторожей, идущего по тропинке на том берегу озера. Он был здоровенным детиной, и я хорошо его знал, вот только на минутку позабыл имя, так что я крикнул:

— Эй, там! Сторож! Задержи мальчишку!

И в один миг он скинул с плеча сумку, протиснулся в железные ворота и вбежал на мост с таким проворством, что ковыляющий мальчишка оказался заперт между нами двоими. Я немного сбавил шаг и натянул поводок, чтобы попробовать усмирить собаку. Теперь мальчишка находился в полном смятении, бросая взгляд то на сторожа, который продолжал приближаться к нему, то на меня. И на мгновение мне показалось, что он понял, насколько я стар и болен и

как легко он может сбить меня с ног; и я почувствовал, что вся моя храбрость снова исчезает, и подумал, что лучше бы я его отпустил. Парнишка вертелся во все стороны, доведя себя прямо-таки до исступления. Затем, к моему ужасу, я увидел, что он начал лезть на низкую ограду, идущую вдоль всего моста.

— Мальчик, не надо! — закричал я ему, но он, как трусливый заяц, продолжал карабкаться изо всех сил. Он закинул хромую ногу на стену, рядом с собой, постоял и чуть было не бросился в озеро. Но сторож, подошедший к нему сзади, сделал выпад и ухватил его за руку.

К тому времени как я поравнялся с ними, сторож стащил мальчишку с ограды и бросил на землю, где тот принялся сучить руками и ногами, издавая ужасное хрюканье.

— Успокойся, мальчик. Успокойся! — закричал я, но не добился ни малейшего успеха.

Собака продолжала лаять и скалить зубы, а бедный мальчонка прикрыл лицо руками, как будто мы со сторожем всерьез собирались ему всыпать. Вся сцена была настолько суматошной, что я был вынужден дать псу шлепка, чтобы заставить его умолкнуть, и лишь через минуту после того, как он прекратил свой лай, мальчик, наконец, унял

свои кошмарные всхлипывания. Когда он отнял ладони от лица, я увидел, что с ним и впрямь что-то не так. Его голова вмещала слишком много челюсти, если можно так выразиться. А его глаза, нос и рот были как-то не совсем правильно скреплены между собой.

— Никто тебя не тронет, — сказал я ему, но он лишь нервно косился на вцепившуюся в него руку. Когда сторож ее разжал, стоны мальца почти совсем утихли, и, тяжело дыша, мы все трое смогли прислониться к ограде моста, а собака бестолково смотрела на нас; не зная, как лучше поступить, я предложил отвести мальчишку в дом.

Служанка опознала в нем одного из сыновей Линклейтеров. Судя по всему, они живут на окраине деревни Кукни, поэтому я тотчас отправил лакея в их домик. Пока мы ждали возвращения гонца, я попросил миссис Пледжер приготовить нам чаю и несколько ломтиков гренков с корицей и спросил Клемента, не присоединится ли он к нам, поскольку один его вид может принести спокойствие в самую нервозную обстановку. Итак, вся честная компания отправилась в кабинет на первый этаж и сидела так в молчании, пока бедный мальчик пил свой чай. Его мучила

жажда; он хлебал с вожделением, и я был уверен, что его неуклюжая рука раздавит фарфоровую чашку или огромная челюсть ее надкусит. На вид ему, по-моему, лет двенадцать, но кисти и предплечья у него мощные, как у кровельщика. Одно из его плеч немного приподнято, так что, кажется, он не может вертеть головой так легко, как ему хотелось бы. А подошва на его левом ботинке, как я заметил, наращена на дюйм или два, и вся нога то и дело жалко повисает в воздухе.

Слезы уже высохли, но из его уст не прозвучало ни слова. Он сидел так, должно быть, битых полчаса, неловко прихлебывая из чайной чашки, пока я не начал думать, что его чай стал холодным, как лед. Остальные, включая меня, пытались поддерживать беседу, время от времени бросая на него взгляд через комнату, пока, наконец, мне не доложили, что мой лакей вернулся с еще одним мальчиком Линклейтеров.

Я отпустил Клемента и сторожа, и как только они исчезли, велел пригласить нашего гостя. Когда он вошел в комнату, я продолжал наблюдать за его младшим братом, чтобы знать, как он себя поведет, и, хотя тот остался сидеть и, не отрываясь, разглядывал заварку на дне чашки, я видел, что он явно заметил появление брата и,

как мне показалось, слегка задрожал. Вошедший парнишка всего на год или на два старше брата — ему было не больше пятнадцати. Его голову покрывала шевелюра того же мышиного цвета. Несколько волосков пробилось на подбородке. Полагаю, я ожидал чего-то вроде знакомства, но он просто кивнул в мою сторону и направился к своему родичу, на ходу доставая руку из кармана и двигаясь так стремительно, что я задался вопросом: какому унизительному наказанию мне предстоит стать свидетелем? К этому времени хромой мальчик встал со стула и замер, понурив свою большую голову и сжимая чашку с блюдцем в руке. Он часто задышал, и мне показалось, что его плечи опять затряслись. Но когда старший мальчик подошел к нему, он просто взял у него чашку с блюдцем, поставил их на стол, обхватил брата за плечи и притянул в свои любящие объятья.

Юный кровельщик немедленно начал всхлипывать, как младенец, а брат нежно гладил его по голове, и, должен сказать, пока я смотрел на них, мне стоило большого труда не расплакаться за компанию.

— Я должен извиниться за своего брата, — сказал старший мальчик. — Он, наверно, забрел в

ваше поместье.

Я кивнул, затем пару раз мотнул головой и неопределенно всплеснул руками.

— Понимаете, он любит всюду лазить. Всегда так делал. Ничего не может поделать со своим любопытством.

Я сказал ему, что все в порядке, что никто не пострадал и что я надеюсь, мы не слишком напугали мальчика своей выходкой. Чтобы разрядить обстановку, я представился. Старший парнишка сказал мне, что его зовут Дункан, и, отстранившись от своего зареванного брата, добавил:

— А это Доктор.

— Доктор... ага. — Я попытался переварить эти сведения, но просто не мог сдержаться. — Говоришь, он Доктор?

— Он седьмой сын седьмого сына, понимаете, сэр, так что так уж его назвали. Это старый обычай. Семерки — они счастливые. Поэтому что он особенный, понимаете?

Все это было подано в самой прозаической манере, словно общеизвестный факт, но я различил и нотки гордости, что ему довелось быть глашатаем столь необычных вестей.

Вся идея, конечно, была совершенно невероятной. Я почел своим долгом спросить Дункана, как

именно проявляются особые качества его брата, и мне сообщили (самым бесхитростным тоном), что с ним часто советуются местные жители, как в древние времена советовались с оракулом или пророком. Мне было довольно трудно представить все это, поскольку я до сих пор не услышал от мальчишки ни единого слова, и, когда он опять упомянул о «редких способностях» Доктора, я вынужден был попросить его привести пример.

— Ну, к примеру, если вы скажете ему день, месяц и год, когда вы родились, он может сказать вам, в какой день недели это было. — Затем он добавил: — Не важно, сколько времени прошло с тех пор.

Я слегка задумался над тем, что бы мог значить его последний комментарий, но уже собрался предоставить юному Доктору нужные сведения, да и вообще испытать его, когда он как-то содрогнулся, сделал большой глоток воздуха и пролопотал:

— Среда, — и снова умолк.

Невероятно! Я уставился на одного брата, потом на другого. Я действительно родился в среду. Помню, моя мать об этом говорила. Я пытался определить, каким образом он мог об этом догадаться, когда он добавил шепотом:

— 12 марта 1828 года.

Я был просто ошарашен. Его брат повернулся и по моему лицу увидел, что юный пророк опять попал в яблочко.

— Вот это да... — пробормотал он себе под нос. — Раньше он такого не делал.

Я заказал миссис Пледжер еще тостов, и они вдвоем задержались еще на полчаса; Дункан оказался прекрасным собеседником, но Доктору, к сожалению, больше нечего было сказать. Посреди беседы неожиданно выяснилось, что Дункан на самом деле младший из двоих.

— Люди все время ошибаются, — сказал он мне. — У него очень мальчишеский вид, правда?

Мы все собрались у парадной двери, и двое мальчиков уже собирались уходить, когда Доктор вдруг помедлил и с треском остановился на середине лестницы. Несколько секунд он беспокойно изучал свои ботинки, гримасничал и мялся с ноги на ногу. Дункан подошел к нему, обнял за плечи и спросил, в чем дело. Доктор немного пожевал свою щеку и, наконец, выдавил единственное, сильно исковерканное слово.

— Подлесок, — пробормотал он в мою сторону.

Я переспросил.

— Подлесок, — повторил он.

Что ж, ни Дункан, ни я ничего не слышали о парне с таким именем и, постояв минуту в молчании, вынуждены были оставить эту тему. Но когда они зашагали по аллее, Доктор ненадолго обернулся в мою сторону и показал здоровой рукой в сторону Дебрей, где я впервые принял его за Ягодника.

19 декабря

Погода в этом месяце была отвратительной. Кажется, мы пережили все, что только можно. Последние несколько дней были едва ли не самыми холодными за много лет, с лютыми морозами массой снега. Сосульки, иные по шесть футов длину, свисали со всех карнизов, и Клементу приходилось высовываться из окон со шваброй сбивать их, что, конечно, обидно, потому что вида они весьма впечатляющего, но нельзя допустить, чтобы они упали и рассекли какого-нибудь бедолагу надвое.

Каждая труба в доме замерзла — слугам приходится таскать воду из колодца, — а впоследствии, когда наступит потепление, уверен, нам придется иметь дело с сотней протечек. Но вдобавок ко всему, наше озеро замерзло. Большая редкость. Теперь оно ни дать ни взять — огромная хрусталь-

ная плита, с гладкой, как стекло, поверхностью.

В первый же день, когда оно застыло, на рассвете в дверь уже стучались дети, спрашивая разрешения покататься на коньках. Только распоследний скаредный старикашка отказал бы народу в удовольствии, которое так мало ему стоит, и, едва только стало известно, что озеро открыто, отовсюду стали приходить люди, держа под мышками коньки. Множество людей вышло на лед, от утренней до вечерней зари медленно кружась в огромном человеческом вихре. Влюбленные парочки плавно скользят из стороны в сторону со скрещенными перед собой руками; целые семьи выстраиваются цепочкой, каждый держится за пояс того, кто впереди, и многоголовые, многоногие создания вьются змеями по затвердевшему озеру.

Все это я наблюдал из кабинета наверху, а не далее как сегодня днем видел, как по снегу пришла группа музыкантов и расположилась на скамейках у края катка. Они играли на скрипках, свистульках и гармошках, пока, должно быть, пальцы у них не онемели от холода. А пока они играли, я уловил странный полузабытый обрывок мелодии, который принес ко мне ветер.

Этим вечером я постоял немного у окна, при-

открыв его на пару дюймов, чтобы слышать музыку. Взошла луна, а вокруг озера на шестах висело несколько дюжин ламп. Пока я любовался светящимся в ночи оазисом, который они создавали, рядом со мной появился Клемент. Мы оба еще постояли с минуту, наблюдая за далекими фигурками, что кружились под звездами.

— На озере сегодня очень людно, — сказал я.

Клемент кивнул. Веселый возглас донесся к нам издалека.

— О да, — сказал я, — радуются, как дети.

Повернувшись к нему лицом, я заметил, что Клемент стоит несколько странно — почти как Наполеон, — засунув одну руку за лацкан сюртука. На секунду я подумал, что, может быть, он обжег руку и теперь ходит в повязке, но он достал ее на моих глазах, и в его руке оказалась пара старинных коньков.

Поняв, наконец, к чему он клонит, я в ужасе отступил назад и воскликнул:

— О нет, Клемент, я ведь не могу. Нет, правда, я вряд ли смог бы.

Но старина Клемент вложил коньки мне в руку, и это мгновенно заставило меня умолкнуть. Я повертел их в руках.

— Я имею в виду, Клемент, что покататься было

бы очень славно, — продолжил я, — но ты же знаешь, я не любитель толпы.

Тогда он умчался из комнаты с такой скоростью, что, не знай я его лучше, я предположил бы, что он обиделся. Я решил разглядеть старинные коньки повнимательнее. Совершенно незатейливые. Очень тяжелые. Мало чем отличаются от пары старых ножей для хлеба, связанных между собой шнурками. Я продолжал изучать их, когда Клемент так же стремительно вернулся с кучей старой одежды в руках. Он сбросил ее на ковер передо мной и стал выбирать разные куртки, варежки и шерстяные шапки.

Потом Клемент вытянул из кучи десятифутовый полотняный шарф и принялся обматывать им мою шею, так что, когда он, наконец, закончил обертывать и затыкать его, только мои старческие глаза выглядывали наружу.

Я посмотрел на свое отражение и приглушенным голосом сказал:

— Если я упаду, Клемент, я отскочу обратно, — и похлопал руками в варежках по своему чудовищному поперечнику.

Этаким шерстяным инкогнито Клемент отправил меня в ночь, с фонарем в одной руке и старинными коньками в другой.

Должно быть, прошло несколько дней с тех пор, как я в последний раз выбирался наружу, потому что свежий воздух совершенно вскружил мне голову. Мир был зачарован снегом и льдом, и все деревья облачились в белое. Каждая складка земли сияла в лунном свете, будто облака подчинились силе тяжести и попадали с небес.

Мои башмаки прокладывали свежую тропу в сторону озера, каждый шаг со скрипом уплотнял снег. Голоса делались все громче, далекие фигуры постепенно становились четче, и через некоторое время я оказался на краю замерзшего озера и повесил свой фонарь рядом с другими на ветку ольхи. Радостная болтовня незнакомых конькобежцев струилась вокруг меня, а их призрачная волна затягивала меня.

Привязывая коньки к подошвам башмаков, я прислонился к лодке, которая наполовину торчала изо льда. Секунду спустя я заметил внутри, на скамейке, маленького ребенка, с головой укутанного в кофты и шарфы, прямо как я. Я предположил, что его посадили сюда родители, пока сами катаются, поскольку он был совсем малюткой, чтобы стоять на коньках. К его чести, он ждал весьма терпеливо. Я кивнул ему своей обмотанной головой, и он тоже кивнул мне.

— Папа и мама пошли прокатиться? — спросил я.

Он достал из кармана куртки недоеденное яблоко.

— Я-бло-ко, — сказал он, словно предлагая мне откусить.

— Хороший мальчик, — ответил я и потрепал его по голове, потом повернулся, вдохнул морозного воздуха и выскочил на лед.

Я много лет не катался, и мои руки так и норовили помахать в воздухе. Впрочем, через некоторое время я начал обретать равновесие, затем уверенность, и вскоре почувствовал, что тоже вношу скромный вклад в это грандиозное коловращение.

Все мы ездили по кругу, а в середине озера оставалось пространство, на котором время от времени показывал мастерство тот или иной одаренный любитель катания. Мужчина в вязаном шлеме исполнил впечатляющую восьмерку, лезвия его коньков шипели, врезаясь в лед. Потом девочка — не старше четырнадцати — вышла на сцену и медленно разогналась по маленькой окружности, постепенно прижимая к себе руки и ноги, так что вскоре она вращалась практически на одном месте, высекая коньками тонкую

белую стружку. Зрители наградили ее аплодисментами, но она продолжала яростно кружиться, пока я не начал опасаться, что она продырявит лед и исчезнет в озере под нами. Внезапно она выбросила ногу, а затем, изящно скользя назад, оставила площадку и тут же присоединилась к своим более степенным товарищам по катку.

Но хоть я стар и колченог, я не завидовал ей. Ибо меня переполняла простая радость катания с такими же людьми, как я. О, мы кружились, и пели, и набирали скорость, мы сделали столько кругов против часовой стрелки, что я начал думать, что мы избежали объятий Времени. Я с головой ушел в конькобежный хоровод. То было Братство, без малейшего сомнения.

Видите ли, я тут думал о своем пекаре, Игнациусе Пике, и его завидном религиозном пыле. Я припоминаю, что «Братство» было его самой большой причудой. И правда, найдется ли более достойная цель, чем согласие с ближним? Но сегодня на катке я чувствовал, что нашел свое собственное толкование. Я был незнакомцем, скользящим среди других незнакомцев. Никто из нас не говорил ни слова. И все же мы вместе произвели столько братства, что хватило бы на целый мир.

21 декабря

Кажется, я нашел то, что искал, — голову мистера Фаулера[12].

Когда я пишу эти строки, он невидяще смотрит сквозь кабинет, глубоко погруженный в свои раздумья. Если замученный бедолага из «Анатомии Грэя» нес на себе печать смирения, то молочно-белая голова мистера Фаулера выражает безразличие — проникновенное безразличие. Как бы это выразить? Он безучастен, но полон ожиданий. Молчалив, но подобен нетронутому колоколу.

За последние недели я совершил несколько рейдов по дому и не раз взбирался по лестнице, чтобы пошарить в безвоздушной тьме чердака, но до сих пор моими единственными трофеями были случайные книги, заводная обезьянка да пчела, разделенная на несколько частей. Чувствуя, что мне нужен свежий подход, чтобы добиться успеха там, где я раньше терпел поражение, я тщательно пересмотрел свою тактику: чем слоняться туда-сюда по коридорам, я решил отстраниться от своих затруднений и посмотреть

---

[12] Примечания: 12

Фарфоровая голова, расчерченная по схеме Лоренцо Найлза Фаулера (1811 — 1896), была популярным френологическим пособием

на них со стороны.

Как обычно, экипировался бобром и собольей шубой, затем целенаправленно прошагал по Великой Лестнице, чтобы отправиться навстречу морозному утру. На крыльце я немного помаршировал на месте, чтобы разогреться, затем поднял якорь, лег на правый борт и ступил на узкую гравийную тропинку, обрамляющую дом. Ибо этим утром я намеревался обойти его кругом; задача, которой, полагаю, я никогда раньше не выполнял. Обычно вы приходите в дом или уходите из него, а не огибаете его. Но в круге есть нечто магическое, и само по себе кружение, похоже, рождает самые разные могущественные вещи.

Однако, приступив к этой миссии, я вскоре обнаружил, что держаться рядом с домом будет не так легко, как я надеялся. Стены, изгороди и клумбы все время преграждали мне путь. Но, вдумчиво ориентируясь да кое-где перелезая через препятствия, мне удалось приблизиться к выполнению задачи, которую я себе поставил.

Как познавательно смотреть на мой дом снаружи, а не изнутри. Я не сразу узнал тот балкон, на котором недавно пристрастился курить трубку и наблюдать звезды, да и выступающее окно своей спальни, если уж на то пошло. Как я теперь

вижу, требуется особый вид мышления, чтобы сопоставить то, что вы помните о виде комнаты изнутри, с тем, как она выглядит снаружи. То же самое можно сказать о путешествии куда-то и откуда-то... путешествуя в разных направлениях, вы можете с таким же успехом иногда проезжать по различным местам.

Впрочем, моей сегодняшней целью было обнаружить комнату или флигель, которые раньше от меня ускользнули, поэтому, шагая по тропинке и время от времени взбираясь на стену, я продолжал осматривать дом. Приближаясь к башне с барометром и уже начиная пыхтеть, потеть и, откровенно говоря, задаваться вопросом, уж не выдумал ли я себе еще одно бесполезное дело, я вдруг обогнул угол и увидел место, которое совершенно вылетело у меня из головы.

Бывают времена, когда я тихо удивляюсь своей способности забывать. В этом случае она вызвала исчезновение целой уймы известки и кирпича. Порядочного размера здание, так что и достижение не из маленьких. Однако пока я стоял, глядя на него, в моей памяти начал всплывать его мысленный эквивалент. Не то ли это место, где дедушка когда-то насвистывал мне свои любимые мелодии? Кажется, то самое. Чем больше я

смотрел на постройку, тем больше крепли мышцы моей памяти, и через некоторое время я мог бы с определенной уверенностью сказать, что когда-то здесь располагались конюшни, пока не построили манеж. Будто я натолкнулся на очень старого знакомого.

Здание не связано с домом и отстоит от него, надо полагать, на добрых двадцать ярдов. За эти годы оно заросло плющом и приобрело самоуглубленный вид. На его крыше теперь подрастают деревца. Я заметил неподалеку старого садовника, толкающего скрипучую тачку в сторону тлеющего костра, и окликнул его. Он никак не показал, что услышал меня, и, похоже, безмятежно продолжал свой путь. Но я не сводил с него глаз, я вскоре увидел, как он немного наклонился влево, медленно повернул свой транспорт на несколько градусов и через какое-то время катил свою кучу гниющих листьев ко мне.

Он притормозил и опустил тачку. Во рту у него была незажженная трубка. Я спросил, знает ли он что-нибудь о старых конюшнях, и это заставило его сдвинуть кепку с лысой макушки на затылок.

— Я так понимаю, там устроили склад, Ваша Светлость, — сказал он.

Ну что ж, дверь была закрыта на засов, но не заперта. Все деревянные стойла остались целы. Никто особенно не пытался навести здесь порядок, судя по тому, что пол до сих пор был усыпан опилками и резкий сладковатый запах лошадей, кажется, все еще витал в воздухе, хотя единственным напоминанием о старом назначении здания была пара каретных колес, прислоненных к дальней стене.

Словно полицейский, я продолжал свое расследование, выдыхая облачка пара, пока не наткнулся на старую лестницу, скрытую в углу. Я с изрядной осторожностью поднялся по ней — каждая ступенька болезненно скрипела под моим весом — и вышел на низкий чердак под голой черепицей крыши. Где-то за стропилом копошилась птица в гнезде.

Помещение было пусто, не считая нескольких ящиков из-под чая, сгрудившихся в углу. Из них два были порожни, в остальных лежали старые инструменты, разбитые солнечные часы и моток вонючей веревки. Но, сдвинув крышку последнего, я оказался лицом к лицу с фарфоровой головой Фаулера. Насколько я понимаю, ее укладывали на ложе из пружинистой соломы, но прошедшие годы так иссушили ее, что теперь лишь несколь-

ко почерневших травинок цеплялись за глаза и рот. Я смотрел на голову, лежащую в своем ящике. А она уставилась на меня в ответ своими странными невидящими глазами.

— Я помню тебя, — сказал я.

Все мое детство эта голова стояла на комоде из красного дерева в углу отцовского кабинета, и у меня не было повода сомневаться, что она покоился там с начала времен. Бюст приводил меня в полнейшее восхищение своим лысым, исписанным черепом и пустым взглядом. Однажды, когда отец сидел за столом и писал, я потихоньку забрался на стул рядом со шкафчиком и медленно протянул руку. Мой палец был меньше чем в дюйме от фарфора, когда отец сказал:

— Нельзя его трогать, сынок.

Я застыл на месте, стоя на цыпочках, держа палец на весу.

— Трогать запрещено, — добавил он и вернулся к своим бумагам.

И теперь, многие годы спустя, этот самый бюст уставился на меня из старого, сырого ящика, пробуждая во мне целый мир забытых мыслей. Бюст был все тот же до мельчайших подробностей — кроме размера, потому что казалось, он странным образом уменьшился, будто бы год износили

его. Он неловко примостился на старой соломе, как животное в зимней спячке.

Череп его был покрыт все теми же любопытными надписями. Фарфор был таким же привлекательным, как и всегда. Но рядом больше не было отца, чтобы пожурить меня, да и я больше не был пугливым мальчишкой, и вот моя рука уже опускается в ящик... нерешительно, словно к загнанному в угол зверьку.

Когда мои кончики пальцев были меньше чем в дюйме от фарфора, они замерли. Я прислушался к голосу отца, рокочущему сквозь годы. Но он был тих и слишком далек. И мой палец коснулся черепа.

— Холодный, — прошептал я в холодном воздухе.

Обшлагом своей шубы я протер оконное стекло и увидел садовника, в пятидесяти футах от меня. Мне удалось открыть окно, не сорвав его с петель, и окликнуть старика, спросив, не поможет ли он мне. И снова ничто в его поведении не говорило о том, что он меня слышал: он не смотрел вверх, ни направление, ни скорость его движения не изменились сколько-нибудь заметно. — и я собирался уже окликнуть его второй раз, когда заметил, что на самом деле он слегка кренится влево и

окольным путем катит свою скрипящую тачку в сторону двери в конюшню подо мной.

Бюст не более полутора футов в высоту, но мне так хотелось, чтобы с ним ничего не стряслось, и я не доверил бы себе нести его вокруг дома до парадного входа. Так что, когда мы благополучно спустились с лестницы, мой садовник (которого, как выяснилось, зовут Джордж) предложил мне положить наш груз в тачку, на разлагающиеся листья. Затем он плавно покатил ее через сеть тропинок, а я зашагал рядом.

— Не тяжело, Джордж? — спросил я его по дороге.

— Нет, Ваша Светлость, — ответил Джордж. — В самый раз.

Когда мы достигли парадных ступенек, Джордж поставил свою тачку и предложил помочь мне отнести голову в дом. Я поблагодарил его за предложение, но сказал, что, думаю, смогу проделать остальной путь самостоятельно, взял голову на руки, как ребенка из коляски, и осторожно двинулся наверх в свои комнаты.

На основании написано:
«ФРЕНОЛОГИЯ»
по Л. Н.ФАУЛЕРУ

С другой стороны я читаю, что он родом из Стаффордшира.

Мокрая тряпка стерла грязь и гнилую солому с его лица. Он почти как новый. Стоит в своем тенистом углу, размышляя над теми же неразрешимыми загадками, над которыми размышлял всегда.

Кажется, ничто не связывает его с миром. Его мысли где-то глубоко. Он почти может оказаться членом какого-нибудь племени наголо обритых, которые общаются без слов и совсем на другом уровне. Но особую странность его внешнему виду придают линии, которыми разграничен его череп. Его лицо чисто, но остальная голова поделена и исписана, разделана, как коровья туша. Дружба, Тщеславие, Жизнерадостность. Все то, что так и не проявилось на его лице.

Интересно, тот ли это парень. Мой давно потерянный френологический человек.

22 декабря

С утра первым делом послал записку Меллору.

> Меллор, ФРЕНОЛОГИЯ
> — требуются сведения.

Вскоре пришел ответ...

Ваша Светлость, Сведения доступны
— Вы всегда желанный гость.

И, отобедав зеленью окопника с маслом и куском бисквита с тмином, я связался с Гримшоу, велел ему запрячь карету и подогнать ее к погрузочной площадке у тоннелей.

Моя шуба за последнее время немного отсырела. Когда я надел ее сегодня, она слегка отдавала плесенью, так что я сменил ее на редингот и накидку и даже отказался от бобра (я обнаружил, что у меня нет настроения надевать шапку). Затем, держась одной рукой за перила, а другой обнимая голову Фаулера, я медленно сошел по черной лестнице вниз, к тоннелям. Клемент спустил в подъемнике пару пледов, и мы все еще разбирались со всем этим хозяйством, когда из-за поворота выкатил Гримшоу, щеголяя сапогами до колен, перчатками и защитными очками.

Клемент уселся спиной к лошадям, и я поставил голову Фаулера себе под ноги, среди шотландских пледов. Затем, после того как Гримшоу получил строгий наказ объезжать каждый ухаб на нашем пути, мы тронулись в сторону деревни Холбек.

Доверие плавающего мальчика все возрастает. Он сопровождал нас в поездке и большую ее часть преспокойно держался вровень с нами, прямо у

двери кареты. Он был подобен луне в безоблачной ночи, не отставая от нас и заглядывая внутрь. Но когда мы подъехали к концу тоннеля, он решил проскользнуть в карету. Он ловкий парень и без сомнений — всегда избегает взгляда. Как соринка или ресничка в глазу, что заслоняет мне обзор в ясные дни. Всегда ускользает на окраину, никак толком не рассмотришь.

Но сегодня мне удалось мельком его увидеть, прежде чем он нырнул и скрылся. Он совсем крохотный, немногим больше младенца. Его кожа такого же цвета, как голова Фаулера, — белоснежная, как облака, — это произвело на меня такое впечатление, что, сам того не желая, я выпалил: «Оба такие белые», отчего Клемент наградил меня недоуменным взглядом. Мне пришлось притвориться, что я ненадолго задремал и разговаривал во сне.

Когда мы достигли Холбека, я попросил Клемента и Гримшоу подождать в карете и заверил их, что я ненадолго. Осторожно пробрался по садовой дорожке Меллора; голова Фаулера выглядывала над одним моим плечом, а лунный мальчик висел над другим. Его Преподобие, на этот раз гладко выбритый, сразу открыл дверь со словами:

— Я вижу, вы пришли с другом, — и на мгновение я был озадачен, не зная, кого из моих молочно-белых спутников он имеет в виду.

На берегу моря столов, заваленных безделушками, я забеспокоился, что могу споткнуться и разбить свою френологическую голову. Спросил Меллора, не затруднит ли его поработать святым Христофором[13].

— Ничуть, Ваша Светлость, — сказал он и забрал его у меня с замечательной уверенностью (которую я приписал многочисленным крещениям, проведенным им), а затем двинулся, грациозно извиваясь своим округлым тельцем в лабиринте книжных башен и хрупкого стекла, направляясь к очагу, — ну а я изо всех сил старался не отставать. Пока мы прокладывали путь сквозь завалы, голова Фаулера глазела на меня через плечо Меллора, и песнь об удивительной белизне слагалась в моей голове.

Когда мы уселись в кресла с чашками чая в руках, Меллор позволил себе рассмотреть голову поближе. Кажется, он был очень доволен.

— Итак, каковы ваши познания во Френологии,

---

[13] Примечания: 13

Св. Христофор изображается переносящим маленького Христа через бурный поток.

Ваша Светлость? — спросил он.

— В самой теории — почти никаких, — признал я и тут же рассказал ему, что в детстве мою голову обмерил (весьма грубо, хочу добавить) некий пожилой господин с костлявыми пальцами, под озабоченным взглядом мамы и папы. Я припомнил, как френолог достал из своего чемоданчика огромный кронциркуль и принялся прикладывать его к моей голове. До сих пор вижу, как сижу, нахохлившись, на шатком стульчике, ожидая, что в любую минуту старик вонзит мне кончики кронциркуля прямо в виски.

— Одно время эта наука была в большой моде, — сказал Меллор. — Возможно, вы слышали, что Ее Величество пригласила френолога, чтобы измерить головы всех ее отпрысков?

Он настоящий кладезь сведений, этот Меллор. Ходячая говорящая книга. И вдруг я обнаружил, что без какой-либо помощи с моей стороны знания низвергаются на меня, да притом целым потоком. В частности, данный поток полностью относился к науке Френологии — к тому малому, который изначально ее придумал (по фамилии Такой-то), и к тому, как наука распространилась по Европе (с помощью двух других ребят), а затем на другом берегу Атлантики (спасибо еще одному

парню). Имена и даты мелькали со всех сторон, как и марширующие ноги огромных медицинских комитетов — некоторые из них выступали в поддержку Френологии, но большинство было резко против — и через какое-то время мне стоило большого труда держаться за подлокотники кресла, и оставалось молиться, чтобы меня не смыло этим потоком.

Какая часть этой внушительной речи была спонтанной, а какая — хорошо подготовленной, не могу сказать. Вполне возможно, Его Преподобие зубрил какой-нибудь учебник до той самой минуты, когда я постучал в его дверь. С другой стороны, может, он просто из тех светлых голов, что впитывают до капли все сведения, которые им предлагают, а потом с той же легкостью изливают их обратно. В любом случае мне понадобилось приложить усилия, чтобы пережить атаку Меллора, не заснув и не свалившись с кресла, и выйти из всего этого, обладая тем, что я счел сутью вопроса... а именно, что Френология была попыткой определить характер личности, отмечая различные шишки и вмятины на голове субъекта. Каждая шишка, в зависимости от местоположения, говорит о преобладании определенного качества — Надежды, Духовности,

Твердости и т. п. — так что, сверившись с картой (или моделью вроде головы Фаулера), френолог может оценить любую голову, находящуюся под рукой.

— Немного осталось стариков, которые еще держатся на плаву, Ваша Светлость, — сказал Меллор. — Вся эта компания с некоторых пор уже не в почете. — Затем он помедлил и посмотрел мне прямо в глаза. — Прошу прощения, Ваша Светлость, но откуда взялся этот неожиданный интерес к Френологии?

Голова Фаулера застенчиво покоилась на коленях Меллора. Они вдвоем молча глазели на меня. Если бы я не так хорошо знал обоих или не доверял им, я мог бы вообразить, что они сговорились против меня.

В этой неуютной комнате воцарилась тишина. Я воспользовался случаем поискать своего лунного мальчика. Обыскал каждый дюйм, но обнаружил, что он ускользнул.

— Я как следует все обдумал, — услышал я собственные слова, — и решил, что мне нужен специалист по голове.

Его Преподобие медленно кивнул мне, осторожно поставил Фаулера на ковер и выбросил себя из кресла. Он провел следующие пять минут,

цепляясь за скалистые обрывы своих книжных полок, со склоненной головой отбирая по корешкам книги. Он мурлыкал себе под нос и скрежетал зубами, и останавливался, только чтобы вытащить какую-нибудь огромную кожаную плиту. Минуты ползли мимо, книжная охота требовала крови, и я видел, как Меллор все больше унывает, пока, наконец, он не отступил от одной полки с выражением величайшего подозрения на лице — как будто книги были виновны в заговоре против него. Затем он повернулся... медленно, медленно... казалось, он прислушивается к торопливым шагам своей отступающей жертвы.

— Ага! — сказал он и бросился на безобидный с виду стол. После недолгой возни с кипой бумаг он выдернул из-под нее картонную папку, оставив неустойчивое сооружение раскачиваться из стороны в сторону.

Вернувшись, он достал из пачки один листок.

— Вот он, — сказал Меллор и бросил его ко мне на колени.

Бумага пожелтела с годами и обтрепалась по краям, но рисунок полностью сохранился. И какой странный и экзотический рисунок, доложу я вам: голова в разрезе, подобная Фаулеровой, но ничего похожего на прозаические надписи

или номера. Сперва я решил, что это нечто вроде головы-гостиницы, потому что в каждом отделении сидели миниатюрные люди, представляя все свойства Человека. Здесь живая картина изображала Самолюбие (гордая парочка на загородной прогулке) и Обходительность (скользкого вида тип, который манил читателя скрюченным пальцем). Тут была Воинственность, олицетворенная двумя боксерами... в сущности, все человеческие качества, хорошие и плохие, разыгрывались мужчиной или женщиной в своей крохотной ячейке.

— Чудесно, — сказал я Его Преподобию.

— Примите в дар, — ответил он и прибавил: — Не очень редкий.

Тем не менее я поблагодарил его и уже начал обдумывать, как листок впишется в мой алтарь. Я продолжал изучать картинку, пока, наконец, не собрался с мыслями и не спросил, не знает ли он случайно, где мне найти хорошего специалиста по голове.

Прежде чем поднять голову, я немного помедлил. А подняв, обнаружил, что он уставился на меня с кислой миной.

— Специалиста по голове? Ну, как я уже сказал, Ваша Светлость, френологи в некотором роде — вымирающий вид. Но, при острой необ-

ходимости, я бы посоветовал Эдинбург. Вот где скрываются последние из них.

— Эдинбург, — сказал я.

— Я знаю там одного профессора. Мой старинный друг... Я мог бы написать ему. Уверен, он сразу вас примет.

— А в Эдинбург ведут тоннели? — спросил я. Он покачал головой.

— Пока нет, Ваша Светлость.

Это было большим разочарованием. Я как-то на них рассчитывал.

— Эдинбург, — сказал я. — Отлично.

Я уже готовился уходить, когда Его Преподобие поймал меня за рукав пальто и возбужденно зашептал мне в ухо:

— Прежде чем вы уйдете, я должен показать вам мое последнее приобретение.

И он потрусил в угол, порылся там и вернулся с предметом, который я сперва принял за пару очков с толстыми стеклами и прикрепленной полоской картона. Он прямо-таки сиял, передавая мне странное приспособление.

— Примерьте их, — сказал он.

Что ж, я нацепил их на нос, и моему взору предстала фотография. Но — как удивительно! — фотография с естественной объемностью.

Мальчик сидел, раскрыв книгу на коленях, но стол на переднем плане и стена позади, казалось, существовали в совершенно других плоскостях. Поразительно! Двигая головой из стороны в сторону, я даже заметил некоторое смещение. Просто ради интереса, я взглянул на картонку поверх стекол и увидел бок о бок две одинаковых фотографии, но, когда я опять посмотрел через очки, они слились в одно потрясающее изображение, в котором учитывались все измерения.

— Стереоскопия, — объявил Меллор из-за моего плеча.

— Замечательно, — сказал я. — А как она называется?

— «Мальчик в раздумьях», — сообщил он. — Что вы об этом скажете?

Уходя, одной рукой я придерживал свою новую френологическую карту головы, свернутую и перевязанную бечевкой, а другой — голову Фаулера. Клемент и Гримшоу застыли в карете, укутавшись шотландскими пледами. Вид у них был не очень приветливый.

Показания миссис Пледжер

В Уэлбеке давно существует традиция, что днем в канун Рождества каждый, кто работает в доме

и поместье, приходит со своими семьями. Ничего особенного, просто фуршет в бальном зале и какие-нибудь игры для малышей. Но по большей части просто повод собраться вместе и пожелать друг другу счастья.

Так вот, около трех часов Его Светлость спускается к ним минут на десять и помогает разливать пунш. Он никогда не любил произносить речи или привлекать внимание к своей персоне, и не то чтобы кто-нибудь этого от него ждал. Но когда однажды он присоединился к игре в домино с ребятишками, разговоров об этом было — недели напролет. Понимаете, всего-то мелочь, а людям приятно.

Ну, и в последний раз мы с девочками приложили немало стараний. Наготовили кучу картофельного салата, подали копченый окорок и расставили это все на самых лучших скатертях. Но приходит три часа, четверть четвертого, потом половина, а Его Светлости — ни слуху, ни духу. Тогда Клемент уходит его искать и, в конце концов, находит его в углу одной из своих комнат с книжками и чертежами. Пытается уломать его спуститься, показаться хоть на секунду, но Его Светлость говорит, что он занят и пусть его оставят в покое.

Ну, кто-то из нас встречает его каждый божий день, но для кого-то это, может, единственный раз за весь год, когда они его увидят, и, когда выясняется, что Его Светлость не появится, люди начинают расходиться. А он все это время сидел наверху и читал. Как прикажете это понимать?

Только потом он спустился и попросил прощения. Сказал, что он, мол, не имел понятия, что сейчас канун Рождества, и ужасно расстроился. Но когда человек забывает про Рождество, тут явно что-то не так. Дело ж не только в стараниях. В конце концов, у людей есть чувства.

Из дневника Его Светлости

Эдинбург, 6 января

Сегодня в восемь утра мы были на платформе станции Уорксоп — достаточно рано, чтобы посмотреть, как подходит поезд. Был адский бедлам, с фырканьем и визгом тормозов, пока он, задрожав, не остановился и не закрыл тот скудный свет, который прежде освещал станцию. Клемент помог мне подняться в вагон, потом забрался сам и втащил багаж; он легко закинул мои чемоданы на полки и вообще захлопотал по хозяйству. Должен сказать, я не ожидал, что купе будет обставлено столь роскошно. Последний раз, когда я путешествовал по железной дороге, вагон мало чем отличался от деревянной коробки с прохудившейся крышей, а сейчас здесь были занавески, подушки, ковры и даже зеркало, чтобы причесываться.

На мне было пальто в стиле Вильгельма IV, с глубокими карманами в форме полумесяца, высоким воротником и спрятанным где-то рекомендательным письмом Меллора. На сиденье рядом с собой я положил свой ранец, в котором

лежал овощной пирог, фрукты, печенье и фляга с горячим сладким чаем. Я намеривался поехать в Эдинбург один, как человек, твердо стоящий на ногах, но на меня давили с разных сторон, чтобы я позволил Клементу поехать со мной. А миссис Пледжер отметила, что мои рубашки и брюки потребуют глажки после того, как добрую часть дня проведут втиснутыми в чемоданы, и что, хотя наш отель может кишмя кишеть чистильщиками обуви, есть некоторое опасение, что они не отличают носок ботинка от пятки. Тогда я уступил с тем непременным условием, что Клемент едет в отдельном вагоне и вообще не болтается под ногами, чтобы каждый, кто встретит меня в эти несколько предстоящих дней, мог счесть меня обыкновенным, независимым светским человеком.

Клемент то выходил на платформу, справляясь о времени отбытия у всех служащих подряд и доводя себя до полнейшего исступления. То возвращался в вагон, узнать, готов ли я к поездке, и никак не хотел закрывать купе.

Я махал на него свой тростью, пока он, наконец, не оставил дверь в покое. Затем пришел кондуктор и захлопнул ее, и Клемент зашагал в свой вагон. Затем где-то на платформе прозву-

чал свисток, и секундой позже вся наша махина совершила ужасный рывок, за которым последовали более слабые и частые рывки, пока моя крохотная, причудливо обставленная комнатка не понесла меня прочь. Я высунул голову в окно, взглянуть, как проплывает станция, и увидел в двух вагонах позади себя Клемента, который с тревогой взирал на меня. Я закричал, чтобы он убрал голову, и со временем он меня послушался. Полагаю, он просто хочет убедиться, что со мной все хорошо. Но ему не стоило волноваться, ведь меня сопровождает плавающий мальчик.

Паровоз тащил нас через город, весьма болезненно кашляя и брызгая слюной, но постепенно ему удалось прочистить легкие, и вскоре мы покинули Уорксоп и, в общем, набрали скорость. Рессоры визжали, как поросята, холмы в окне принялись вздыматься и опадать огромными земляными волнами, а поскольку мимо, как на смазанных колесах, проносились фермы и коровы, должен признать, я почувствовал легкую тошноту. Задернул занавески, чтобы унять позывы, и глубоко дышал, пока ко мне не вернулось самообладание.

Клемент предусмотрительно прикрепил к моей двери табличку, на которой написано:

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ОСОБО,

чтобы отвадить у пассажиров, ожидающих посадки на попутных станциях, охоту вторгаться ко мне.

Что ж, мы, похоже, навестили едва ли не каждый город и деревню на севере Англии, без конца прибывая и отбывая. Рядом с занавешенным окном было небольшое смотровое отверстие, и первые несколько станций я вставал на сиденье и выглядывал наружу, наблюдая, как садятся и сходят люди. Во всех направлениях катились огромные сундуки; когда мы трогались, люди целовались, жали руки, обнимались и махали платками. Но вскоре я устал подглядывать за анонимными прощаниями, и, покуда станции становились все реже, я постепенно впадал в спячку, не лишенную приятности.

Часом или двумя позже я поел пирога. Хотя я был безупречно зашторен и отгорожен, станционный шум все же вторгался ко мне на каждой остановке. Доносились бесчисленные крики: «Береги себя» и: «Пиши... Обещай писать!» — вместе с: «Обними от меня такого-то..»; все это перемежалось пронзительными запятыми кондукторских свистков и перестуком хлопающих Дверей.

Невольно подслушивая все эти торопливые

прощания, я начинаю замечать, что среди голосов шотландцев, едущих домой, можно различить и местное произношение и что по мере нашего продвижения на север оно медленно смещается от одного акцента к другому.

Мальчик в своем пузыре витал наверху, у багажной полки, демонстративно повернувшись ко мне спиной. Я подумал, может, он затаил на меня обиду, и поделился с ним этой идеей, но не получил ответа. Этот парень не слишком разговорчив.

Мы ехали уже несколько часов, и я смертельно заскучал. До такой степени, что хотя знал, что до Эдинбурга еще далеко, на следующей остановке решил оставить занавески открытыми, а когда мы неслись по виадуку, я просунул руку в открытое окно и снял табличку, которую Клемент прикрепил к двери. Я сказал себе, что, если Судьба решит послать мне попутчиков, так тому и быть. Меня внезапно охватило желание разделить общество ближнего своего.

К Ньюкаслу мой ближний обрел форму молодой матери с двумя близнецами (мальчик и девочка около пяти лет от роду) и грозного вида малого лет пятидесяти с лишком, чьи усы были слишком напомажены. Мои надежды на дух

товарищества между попутчиками были тут же разбиты: женщина отдала предпоследние силы тому, чтобы поднять своих детей на сиденья, а поза джентльмена, который устроился рядом со мной, не оставляла сомнений, что меньше всего он заинтересован в беседе. После приветствий мы, кажется, не проронили ни слова. Дети являли собой образец примерного поведения, только раз или два они запищали, но тут же были встречены сердитым взором зловещего Человека с Усами. Присутствие его было столь гнетущим, что я вскоре заметил, что собственный мой взгляд довольствуется маленьким участком ковра и глаза мои почти не отваживаются смотреть куда-то еще. В то же время мне было интересно (да и сейчас мне интересно), как можем мы позволять одному человеку безнаказанно довлеть над обстановкой с таким своеволием и зловредностью и вообще отравлять атмосферу. Может быть, именно скованность современных путешествий взращивает такую жуткую отчужденность в их человеческом грузе.

Поезд вез нас прямо по берегу Северного моря, чудесно бурому, поросшему орляком и такому удивительно острому и блестящему, что он казался высеченным из кремня. Будь я один, я мог

бы распахнуть окно и вбирать в себя морской воздух огромными глотками. Вместо этого все мы впятером довольно озлобленно взирали на берег и возвращались взглядами обратно в свои каторжные норы.

Вскоре после этого один из близнецов издал потрясающий зевок, полностью изнуривший своего маленького владельца. Было изумительно, с какой скоростью то же состояние настигло всех остальных, хоть мы, взрослые, и прятали свои зевки за поднятыми руками и подвергали их такому безжалостному сжатию, что выдавливали из них все удовольствие. И все равно, зевота малыша прокатилась по купе как заразная болезнь, прыгая от сиденья к сиденью, точно мячик. И очень скоро взоры наши стали безучастными, а сами мы преисполнились вздохов, подчиняясь движению поезда. И все мы, взрослые, постепенно уменьшились до младенцев, и каждый из нас укачивался на руках своей мамы, и хотя сперва нам не удалось сблизиться в беседе, теперь нас наконец объединил сон.

Эдинбург, 7 января

Свободный день перед визитом к профессору Баннистеру, так что мы с Клементом провели

утро, бродя по городу. Расхаживая туда и сюда по ветреным улицам, переходя от чайной к лавке портного, я заметил, как, однако, странно все одеваются в наши дни — воротники и шляпы скроены так скупо. Почувствовал себя крайне старомодным и до смешного франтоватым в своем бурнусе, цилиндре и рубашке с двойными оборками.

После обеда, по рекомендации Меллора, мы посетили знаменитую «Camera Obscura»[14], которая находится на самом верху Хай-стрит, прямо у ворот Замка. Это толстенькая башенка, немного напоминающая маяк, только бревенчато-кирпичного вида с полностью деревянной крышей.

Меллор очень воодушевился, когда рассказывал мне об этом месте, говоря, что ни одно его посещение Эдинбурга не обходилось без посещения «Камеры». Поэтому, добравшись до нее, мы тут же устремились внутрь и подошли к маленькому окошечку, где я заплатил наши пенни женщине, с головы до ног затянутой в твид. Она поздравила нас с тем, что для визита мы

[14] Примечания: 14

Букв, «темная комната» (лат.) — стеноп, прототип фотографического аппарата, представляющий собой затемнённое помещение или закрытый ящик с малым отверстием в одной из стенок, выполняющим роль объектива

выбрали такой ветреный день, поскольку ветер разогнал все утренние облака, обеспечив нам, настаивала она, особенно эффектное зрелище. Приободренные этими новостями, мы начали подъем по каменным ступенькам — сотня ступенек, не меньше, словно они вели на вершину мира — чтобы, наконец, очутиться на высокой террасе, где стояли еще три джентльмена, куря и любуясь окрестностями. И что за панорама! — столь отрадная, столь величественная, что она одна стоила подъема и входной платы.

Камера стоит на той же громадной каменной скале, что и Замок, так что у нас был почти полный обзор головокружительного города под нами.

— Сколько шпилей! — сказал я Клементу, который неопределенно кивнул в ответ.

В самом деле, казалось, на каждом углу один из них непременно протыкал небосвод. Ближайшие облака были свалены на горизонте в нескольких милях от нас, и небо было райского оттенка, придавая всем крышам и церквям еще более морозную четкость, так что от удовольствия даже пощипывало глаза. Я насчитал куда больше дюжины шпилей и колоколен и насчитал бы гораздо больше, но тут женщина в твиде (и ве-

ликолепной паре шотландских башмаков, стоит добавить), пыхтя, появилась на лестнице.

— Прошу вас сюда, джентльмены, — объявила она.

Затем она открыла дверь с террасы и поманила нас в деревянную комнату, которая снаружи напоминала высокий бельведер без окон или купальную машину со снятыми колесами.

А должен признаться, что пока нас подгоняли в сторону крохотной комнатки, я не имел ни малейшего понятия, чего ожидать. Преподобный Меллор, горячо поддерживая «Camera Obscura» и даже предприняв попытку описать принцип действия, не оставил у меня сколько-нибудь твердого представления о том, что же там, собственно, может происходить. И потому, оказавшись в маленькой круглой комнатке, выдающейся только высоким потолком, должен признать, я был немного разочарован. Если мы должны стать свидетелями наглядной демонстрации той красоты и значительности, которую я ожидал после описания Его Преподобия, то, конечно, рассуждал я, здесь не обойтись без кучи серьезных механизмов.

Пока эти мысли блуждали в моей голове, женщина в твиде закрыла за собой дверь и затем

минуту или две объясняла принцип действия Камеры. Я был не особенно впечатлен, и, видя, как малый рядом со мной подавляет зевоту, испытал некоторое удовлетворение. Но когда она протянула руку и начала приглушать свет ламп, я неожиданно обратился в слух и зрение, ибо осознал: сейчас мне, возможно, предстоит пережить еще один столь же сильный приступ клаустрофобии, что и тот, в пещере Меллора. И в эти последние мгновенья, прежде чем тьма совсем накрыла нас, я тщательно удостоверился, что определил точное расположение двери, на случай если меня вдруг охватит такое же смятение и мне придется внезапно и постыдно бежать. «Неудивительно, что Меллору здесь так нравится», — подумал я, пока мой живот скручивался знакомым паническим узлом, а тьма струилась вверх из углов и покрывала своим плащом комнату вместе с ее обитателями.

Но, как и в пещере, я был еще на грани настоящего ужаса, и в ушах моих пронзительно кричал мой собственный детский голос, но через мгновение приземлился на другом конце бездны. Узел в моем животе чудесным образом развязался, и я снова был весел и полон сил.

Как и мои товарищи-наблюдатели, я положил

руки на круговые перила и стал смотреть вниз, на широкий вогнутый стол — совершенно гладкий и белый — пока женщина в твиде спешила поведать хорошо поставленным голосом о комнате, в которой мы стояли. Одной рукой она держалась за длинный деревянный шест, подвешенный к высокому потолку, и, когда наши глаза привыкли к темноте, постепенно ее стало лучше видно. Ее руки и лицо призрачно отсвечивали. Она повернула шест со словами:

— ...тот же принцип, что и в камере. Крохотный проем в крыше позволяет проецировать изображение на тарелку внизу...

И действительно, окутанный ее заклинаниями, я увидел, как вырисовываются первые черты картинки. Я увидел деревья — деревья сада поблизости, их ветви медленно становились резче, в то время как позади них из тумана выплывала Принсесс-стрит во всей своей протяженности. Мы словно наблюдали с высоты птичьего полета само создание Эдинбурга. На минуту эмоции совершенно захлестнули меня, а взглянув украдкой на своих товарищей, я увидел, что мое изумление отражается и в них. Они были словно персонажи Рембрандта, и лица их сияли молочной белизной тарелки.

Я снова посмотрел на стол, как раз вовремя, чтобы увидеть, как вся картинка внезапно заскользила на своей оси, под аккомпанемент скрипящего шеста, который вертелся в цепких руках твидовой женщины. На тарелку выкатился замок.

— Ура, — воскликнул один из джентльменов.

— Крепость, — возвестила наша провожатая.

Теперь каждая черточка была резкой, как вспышка, и я как раз думал о том, как замечательно изображение напоминает фотографию — разве что очень круглую и большую, — когда через всю неглубокую чашу проплыла чайка и картина внезапно ожила. Вся честная компания прыснула удивленным смехом. Один или двое начали возбужденно болтать.

— То, что мы видим, — объявила наша провожатая, словно чтобы успокоить нас, — не неподвижное, а живое изображение внешнего мира.

И мы стояли там, во чреве дышащей Камеры, и целый город вливался в нас через единственный луч света. И все же изображение, которое он нам приносил, ни в коем случае не было замороженным, но самым что ни на есть живым и настоящим.

Глядя на эту белую тарелку, вцепившись в поручни, мы проехали через все триста шестьдесят градусов города. Здесь были конки, муравьиным шагом ползущие по Хай-стрит мимо уличных торговцев, выставивших свои корзины, — вся торговля и транспорт трудолюбивого города и глубокое море, прикорнувшее рядом.

Эдинбург целиком вылился в чашу перед нами, словно мы были ангелами в первом ряду, но все колдовство состояло из пары линз и маленькой дырочки в крыше.

Когда мы, часто моргая, вышли на свет, я, откровенно говоря, чувствовал, что посидел у богов на коленях. И весь остаток дня, продолжая осматривать достопримечательности, мне приходилось сдерживаться, чтоб ненароком не вырвался смешок.

Эдинбург, 8 января

— Профессор Баннистер, — говорю я, протягивая руку.

— Ну, ну, ну, — говорит высокий субъект, и его палец раскачивается передо мной, как метроном. — Уильям, если не возражаете.

Я находился в самых недрах университетского Факультета Анатомии и знакомился с человеком,

ради которого было затеяно все это путешествие, и, судя по поклонению, которым окружили его студенты и коллеги вне стен его кабинета, а также вместительности внутри, он должен быть чрезвычайно значительным малым, ибо у него были диваны, кресла и древняя кушетка, не говоря о бескрайнем письменном столе, покрытом зеленой кожей. Профессор принялся уверять меня, что они с Меллором — старинные друзья. Затем какое-то время мы вдвоем перекидывались приличными случаю шутливыми замечаниями касательно поездов и сырости Эдинбурга, прежде чем вернуться к нашему общему другу.

— Здоров ли он? — спросил Баннистер.

— Как бык, и довольно упитанный, — ответил я, что, кажется, порадовало его сверх всякой меры.

— Превосходно, — сказал он с нешуточной пылкостью и проводил меня в кресло.

Думаю, мне следует упомянуть об исключительном росте моего хозяина, поскольку он завладел едва ли не большей частью моего внимания, ибо, сев в кресло, Баннистер принялся скрещивать свои длинные ноги так быстро и при этом доставал ими так далеко, что я беспокоился, как бы он случайно не разрезал меня надвое.

— Головы, не так ли? — сказал Уильям Банни-

стер, размахивая передо мной моим рекомендательным письмом. — Меллор пишет, что вас интересуют головы.

— Скорее сведения, чем сами головы, — довольно нескладно ответил я. — Я... работаю над проектом, связанным с головами.

Он улыбнулся мне, соскользнул в кресле еще фута на два, сплел пальцы, выставив указательные, и водрузил сверху подбородок. Оглядываясь назад, я готов признать, что его молчание, скорее всего, выдавало человека, который приводит в порядок свои мысли (в которых, как я вскоре обнаружил, у него не было недостатка), но тогда я заподозрил, что у него провал в памяти. Этот парень шевелил только своей огромной ступней, которая балансировала на коленной чашечке, бешено раскачиваясь, как будто в ней собралась вся его энергия. Еще минуту он мерил меня взглядом, поджав губы, затем, наконец, дал себе волю.

И должен признать, оказалось, что он исключительно полон сведениями о головах: как можно оценить и измерить голову, к примеру, или как ее можно сломать и починить. Больше того, как и его старинный приятель Меллор, профессор Баннистер вскоре оказался неиссякаемым фонтаном, и стоило его языку набрать ход, как мой разум

остался плестись далеко позади.

К сожалению, его монолог показался мне крайне утомительным, будучи испорчен сразу двумя недостатками. Во-первых, стиль — академичный и полностью лишенный юмора (никаких анекдотов, которые часто поддерживают мой интерес). Во-вторых, само обилие информации, ибо в черепе его, похоже, хранилось столько сведений, что хватило бы на несколько обычных голов, и вскоре мой маленький, неакадемичный чердак был заполнен до самых краев.

После двадцати минут я настолько пресытился, что начал задаваться вопросом, нет ли у него, случайно, работы, к которой ему пора возвращаться, а мое участие в разговоре свелось к редким кивкам и мычанию, чтобы показать, что я все еще не сплю. Затем в самой середине этого чрезвычайно эрудированного и совершенно занудного потока слов ухо мое внезапно уловило отдаленно знакомый термин. Оборот, который я, должно быть, встречал в одном из своих медицинских словарей.

— Трепанация? — сказал я (вставляя подобие палки в колеса профессора). — Это еще что за птица?

Сперва он был просто поставлен в тупик моим

вторжением. Он напоминал человека, которого только что вырвали из гипнотического транса.

— Дыра в голове, Ваша Светлость, — сказал он. — Рукотворная дыра.

И рука его протянулась к отдаленному столу, пошарила среди бумаг секунду-другую и широким взмахом вернулась обратно, уронив мне на колени пожелтевший череп без челюсти.

— Удачно поймали, сэр, — сказал Баннистер.

Я осторожно повертел череп в руках. Я начинал понимать, почему Баннистер и Меллор такие хорошие друзья — оба они ужасно разговорчивые, и оба любят забавляться с костями.

Голова мертвеца, которая перекатывалась в моих руках, вызывала у меня странные чувства, но я не хотел ударить лицом в грязь и храбро спросил:

— И что это, вы говорите, за парень?

— Это Homo erectus amazonas[15], Ваша Светлость. Мы нашли его в Бразилии.

Я долго и внимательно смотрел на то, что от него осталось — никогда раньше не доводилось мне видеть бразильца, — и мягко скользил пальцами по тонким расщелинам, где сходились

---

[15] Примечания: 15

Человек прямоходящий амазонский (лат.) — амазонский питекантроп

разные континенты черепа.

— Если вы соблаговолите взглянуть на макушку, — сказал мне Баннистер из глубины своего кресла, — вы обнаружите дыру около трех четвертей дюйма в поперечнике.

Действительно, она там имелась.

— Так вот, хотя мы, работники медицины, находим эти отверстия весьма удобными для переноски старых черепов, многие представители нашей профессии берутся утверждать, что подобные дыры на самом деле являются результатом первобытной хирургии...

— Но зачем бы бразильцу соглашаться, чтобы у него в голове проделали дыру?

— Что ж, Ваша Светлость, это справедливый вопрос, ибо нет никаких свидетельств того, что малый давал согласие на что-либо подобное. Однако принято считать, что такие операции выполнялись для того, чтобы выпустить Злых Духов.

Я посмотрел на высохшую старую скорлупу в моих руках. Что бы ни владело ею когда-то, оно давно уже улетучилось.

— А скажите, Уильям, — спросил я, продолжая разглядывать череп, — в наши дни людей все еще трепанируют?

— О, сколько угодно. Сколько угодно трепанируют. Я бы сказал, несколько сотен человек сейчас разгуливают с такой дыркой в голове. Хотя, конечно, не по религиозным причинам, а чтобы, например, облегчить кровотечение или позволить нам покопаться в мозгах. Но, отвечая на ваш вопрос... Да, Ваша Светлость. Мы все еще любим изредка проделывать дырку-другую.

Теперь Баннистер настолько съехал в кресле, что почти лежал на полу, вытянув ноги вперед и скрестив лодыжки. Я уже ждал следующей словесной атаки, когда без малейшего предупреждения из его тела выдвинулась рука и махнула в мою сторону, подобно гику на лодке. Мне пришлось пригнуться, чтобы она не смела меня, проносясь по комнате. Когда она, наконец, остановилась, я увидел, что палец на ее конце показывает на застекленный шкафчик с другой стороны комнаты.

— Взгляните на моего старого «Джона Вайса»[16], — сказал Баннистер.

И я направился туда, к шкафчику, и обнаружил за стеклом узкий футляр, около десяти дюймов на пять. В его раскрытых устах рядком лежали

---

[16] Примечания: 16

«Джон Вайсс и сын» — известная английская компания, производившая хирургические и стоматологические инструменты

зловеще мерцающие инструменты.

— Набор для трепанации, Ваша Светлость, — сказал Баннистер, встав со мной рядом. — Немного устарели, но сделаны превосходно, не правда ли?

Так оно и было. Словно ужасные драгоценности; каждый предмет уютно расположился в своем бархатном ложе. Центральная часть напоминала небольшую столярную дрель — только не такую маленькую — с аккуратно выточенной деревянной ручкой на одном конце и блестящим металлом на другом. Целая армия апостолов выстроилась по обеим сторонам. Но крохотная кисточка и пузырек с маслом, лежащие в своих небольших ямках, меня озадачили.

— Для смазки, — пояснил Банистер.

Я был настолько очарован этой мрачной техникой, что спросил Профессора, где можно приобрести такой набор для трепанации. Но он ясно дал понять, что подобные вещи обычно не доступны для тех, кто не связан с медициной, так что я больше не возвращался к этой теме.

Баннистер пригласил меня обедать в свой клуб, что было совершенно неожиданно и, безусловно, очень мило. В последнее время я не мог похвастаться особенным аппетитом, поскольку пища

в отеле была несколько необычной, но, когда мы уселись, нам принесли еду и Баннистер разразился очередным невразумительным монологом (на этот раз что-то связанное с углеродом), мне ничего не оставалось, кроме как набивать живот. Нам подали густую похлебку, запеченную форель, острый сливовый пудинг и бутылку сладкого красного вина. Пока я сонно возил ложкой сливовые косточки по дну своей тарелки, за столом справа от меня вдруг началась какая-то суматоха.

Послышалось шарканье ножек стульев, звон приборов, бросаемых на стол, и звук неожиданно прерванного разговора — другими словами, вся та атмосфера, которая обычно предшествует потасовке. Я все еще пытался установить главных действующих лиц (и молился, чтобы драка не распространилась и не захватила невинных свидетелей вроде меня), когда Баннистер неожиданно вскочил из-за стола, отправив свой стул кувыркаться по полу.

Я не имел ни малейшего понятия, каким образом он оказался вовлечен. Может, они обменивались взглядами. Но за пару шагов он достиг соседнего стола, схватил человека за горло и вдавил его в спинку стула. Вскоре парень, чью

трахею сжимала рука Баннистера, лежал на спине, а Баннистер тут же взгромоздился на него, усевшись ему на грудь и прижав его руки своими длинными ногами. Затем его рука с силой опустилась на лицо лежащего. Со всех концов комнаты теперь доносились крики, и одна женщина (я решил, что это жена несчастного) тщетно дергала Баннистера за плечо, в то время как он запускал свои пальцы в глотку бедняги.

Когда он вынул руку, в его пальцах болтался кусок свиного жира. Очень белого и очень мокрого. Баннистер бросил его в первое попавшееся блюдце, затем помог незадачливому едоку встать.

— Благодарю вас, сэр. Благодарю вас, — сказал раскрасневшийся парень. — Чертова штука застряла у меня прямо под языком.

Но Баннистер только сдержанно поклонился и вернулся к столу, под одобрительный лепет присутствующих.

— Некоторые прямо-таки отказываются жевать пищу, — признался он мне, вытирая жирные пальцы носовым платком.

Обеденный зал медленно приходил в себя. Беседа возобновилась, осколки посуды убрали. Бедолага, в зобу которого застрял кусок жира, подошел пожать руку моего спутника и осыпать

его еще кучей благодарностей.

Когда он, наконец, удалился, Баннистер поднялся на ноги.

— Ну, вперед и вверх, — объявил он. — Что скажет Ваша Светлость?

Я сказал, что «вперед и вверх» звучит как неплохой совет. И мы забрали наши пальто и шляпы из гардероба и вышли в наступающие сумерки.

Этим утром Баннистер посоветовал мне осмотреть его Особую Коллекцию, дав понять, что это нечто вроде привилегии для непосвященного вроде меня. Впрочем, к тому времени, когда мы вышли из клуба, я был бы счастлив вернуться в отель и провести остаток дня в постели. Но, как я уже упоминал, Баннистер легко запоминает подробности, о которых другие склонны забыть.

Итак, обвив своей длинной рукой мои плечи, он отвел меня обратно на Факультет Анатомии, где мы прошагали влево и вправо, вправо и влево и, в конце концов, вниз, в самые глубокие глубины.

У подножия лестницы были двери с замороженными окошками, которые показались мне очень приятными, и я мог бы долго простоять там, любуясь их морозным сверканием, если бы Баннистер энергично не подтолкнул меня в их сторону.

— Там все подписано, — сказал он мне. — Наслаждайтесь, — и убежал обратно, вверх по ступенькам.

Вскоре я пожалел, что так плотно пообедал, или, если на то пошло, пообедал вообще. Громадная белая комната была слишком уж ярко освещена, и все банки, колбы и стеклянные стенды поблескивали, как глыбы льда. Но когда я пробирался между ними, мое отвращение вызывал не столько пронзительный свет и его множественные отражения, сколько тошнотворный, всепроникающий запах. Воздух был пропитан формальдегидом — сделался теплым и липким, — так что, продвигаясь по первому ряду экспонатов, я раздумывал, не станут ли мои собственные органы такими же маринованными, как и те, что здесь выставлены.

Жидкая атмосфера возбудила во мне фантазию, будто я двигаюсь в каком-то подводном мире, ибо я очутился в компании столь влажных и необычных существ, что они гораздо привычнее смотрелись бы на океанском дне. Я мог бы тысячу раз прочесть свою «Анатомию Грэя» от корки до корки, но все равно был бы к этому не готов. У меня осталось впечатление, что я набрел на место чудовищной бойни, возможно, итог ужас-

ного взрыва, который расшвырял своих жертв по нескольким сотням банок.

Держать в руках кости Древнего Бразильца уже достаточно страшно, но встретиться лицом к лицу с колбой студня из его потомка — еще хуже. Человек никогда не казался мне столь смертным, столь ничтожным. Ибо, медленно бродя по бескрайней зловонной комнате, я слышал взывавший ко мне голос меланхолии — казалось, он сочится прямо сквозь толстые стеклянные стенки.

Никогда не встречаясь с внутренностями человека раньше, я вряд ли смог бы их узнать. Так, здесь (как уверяла меня надпись) было подвешено заспиртованное человеческое сердце, которое мне напоминало всего лишь мягкий черный камень. Здесь была рассеченная почка, похожая на гриб, ждущий сковородки. Вокруг меня самые сокровенные, самые тайные куски человека лежали обмякшими, нагими и ужасно мокрыми в своих тюремных банках.

Камберлендская колбаса кишечника.

Одинокое глазное яблоко, остановившееся на середине своей орбиты.

Человеческий язык, достаточно длинный, чтобы задушить своего обладателя, свернутый, как

угорь.

И мозг — человеческий мозг, ради всего святого! — похожий на раздутый грецкий орех. И не цвета морской волны, как я всегда представлял, а унылого, бледно-серого.

Любопытное сооружение, названное «бронхопульмонарным деревом» и стоящее на тумбе под вычурным колпаком, оказалось, как я, наконец, понял после долгого головоломного чтения подписей, замысловатой моделью легкого в разрезе. И вновь я обнаружил, что мои представления о механике тела далеки от реальности. Внутренности моих легких, вероятно, напоминают не столько ветки дерева без листьев, сколько коралловый букет. Но даже эта прекрасная, причудливая легочная тиара казалась мне искрящейся скорбью.

Вся коллекция вызвала во мне потрясение. Разумеется, стеклянные упаковки содержали как ужас, так и странную привлекательность, но превыше всего я чувствовал, что каждый орган пропитан одним и тем же печальным концентратом и что разочарование наполняет все сосуды до последнего.

Я блуждал по этим сырым рядам уже почти полчаса, несколько удивленный, что обед мой до

сих пор остался там, где был, когда мне пришла в голову следующая идея...

Нельзя ли взять все эти маринованные кусочки и восстановить их союз? Воссоздать из этих несчастных, несопоставимых частей один хрупких, но действующий человеческий организм?

Но ответ был слишком очевиден.

Нет, разумеется, это невозможно. Слишком долго он был разъят на части. Если снова сложить его вместе, в нем просто не будет смысла. В конце концов, в нем будет слишком много уксуса.

К тому времени я уже был сыт этой комнатой по горло и направлялся к выходу, страстно желая наполнить легкие свежим воздухом, когда я вдруг обнаружил экспонат, вызвавший во мне такой глубокий отклик, что я застыл на месте. Сквозь дюймовое стекло банки я увидел, как мне показалось, крохотного, но полностью оформившегося ребенка. Малыш был весь сморщенный. Его лысая голова склонилась в раздумье, руки благовоспитанно покоились на коленях. Казалось, он плавает в своем, особом мире, сосредоточенно наморщив лоб. Но потом я увидел, что из-под его правого колена свисает пуповина, бесполезная,

как отрезанная труба. И в этот миг я понял, что на самом деле он никогда не жил вне пределов живота своей матери — был лишь зародышем ребенка. Должно быть, из тепла утробы он отправился прямиком в смертный холод банки и, фактически, жил и умер, так и не глотнув воздуха.

Насколько он был близок к рождению и каковы обстоятельства его смерти, я сказать не могу. Ярлык не упоминал об этом. Но на голове у него пробивались волосики, на руках и ногах были ногти и аккуратные пальчики... маленький мальчик во всех подробностях.

Было что-то знакомое в его свечении. Линза из жидкости и стекла о чем-то мне напоминала. Я смотрел на него снаружи, надеясь, что он развернется и посмотрит мне в глаза. Но он смотрел вниз, на раствор, который поддерживал его бедное тельце.

Сидя здесь, в комнате отеля, и делая предыдущую запись, я вспомнил — без сомнения, благодаря всем этим мясистым изваяниям — о том единственном случае, когда я видел, как разделывают кролика.

Мне случилось заглянуть к одному из своих сторожей и обнаружить, что он точит нож. Я

помню, как кролик безнадежно свисал с крюка на одной из балок в углу кухни и как мой сторож подошел и, осторожно сняв его, положил на стол. Предполагаемое свежевание очень меня заинтересовало, и я спросил, не возражает ли он, если я останусь посмотреть.

Должно быть, я сотню раз возвращался мыслью к этому дню, в попытке уловить перевоплощение, стараясь определить тот самый миг, когда кролик перестает быть животным и становится просто куском мяса. Конечно, когда вы смотрите на мертвого кролика, вы легко чувствуете разницу между ним и его живым, дышащим собратом. Голова его висит чересчур тяжело, ноги его дряблы, он слишком глубоко спит. И все же вы представляете, что все можно исправить. Как будто кролик только временно лишился чувств. Вам кажется, что стоит только собрать в своих легких необходимое тепло или дух, вы могли бы вдохнуть в него немного жизни.

Но наблюдать, как с кролика сдирают мех, и видеть кровавый отблеск его плоти — значит признать, что он перешагнул какой-то важный порог и что лишь гений с иголкой и ниткой может вернуть кролику его прежний вид. Я помню, что шкурку стягивали осторожно (даже ласково),

словно помогая престарелой родственнице снять пальто. Суставы ног были аккуратно сложены и подвернуты, чтобы они легче выходили.

И только когда голова зверька отделена от туловища, мы с уверенностью можем сказать, что процесс завершен. Ибо, когда тесак надвое рассекает шею и его ужасное лезвие погружается в колоду, обе части окровавленного кролика должны признать, что они непоправимо разделены. А когда больше нет головы, мы не видим глаз, осмысленных или нет, а ведь именно туда мы заглядываем в поисках жизни.

Когда распорот живот и вынуты внутренности (хотя, если быть до конца честным, сейчас я уже не помню, когда в точности это произошло), мы, без сомнения, находимся во владениях мясника, а не в поле. И к тому времени, как сторож закончил сучить ножом и отправился на поиски трав и луковиц, которые разделят котелок с серо-красными кусками, я определенно видел перед собой не кролика, а кроличье мясо (к которому, что неудивительно, я никогда не испытывал особого пристрастия).

Эдинбург, 9 января

Прошлой ночью, когда все огни погасли, а я

был плотно укрыт одеялом и уже отходил ко сну, передо мной вдруг промелькнуло очень далекое, но прочувствованное воспоминание. Память о своем рождении. Я лежал там, в животе матери; мне было тепло. Весь мой мир был совсем близко. Но было что-то еще — что-то важное. Какая-то деталь, ускользавшая от меня. Трудно найти слова, чтобы описать то время, когда слова были мне недоступны. Но я не сомневаюсь, что мне удалось на мгновение прикоснуться к воспоминанию о времени в утробе.

Этим утром я решил прогуляться к Замку и заодно обновить пару ботинок. Позволил Клементу сопровождать меня, договорившись, что он пойдет в нескольких ярдах позади. Думаю, ветер дул нам в спину, потому что совсем скоро мы были на месте, и, обнаружив, что мой боевой дух еще не совсем иссяк, я оставил Клемента в трактире и пошел дальше по Хай-стрит в поисках табака.

Купил у старушки на углу Бэнк-стрит «Путеводитель по Городу» и с радостью обнаружил там сложенную карту — очень простую, примерно двух футов в ширину. Пожилая леди, на которой были очки без одной линзы, сказала, что это была, безусловно, лучшая карта улиц Эдинбурга... такая точная, что она получила медаль.

— Какого рода медаль? — спросил я ее.

— Медаль для карт, — ответила она.

Ну разумеется. Что ж, я спросил ее, не знает ли она поблизости хорошего табачника. Казалось бы, прямой вопрос, но он вызвал в ней целую череду противоречий и гримас, прежде чем она, наконец, пришла к неуверенному согласию с собой. Окрепнув в своей убежденности, она сообщила мне, что если через один квартал я сверну направо и спущусь по двум длинным лестничным пролетам, то выйду прямо к одному из лучших табачных магазинов в городе.

На этом я поблагодарил ее, пустился в путь и, как и было сказано, на втором углу повернул направо. Я был так уверен в неизбежности моего прибытия в табачную лавку и звона колокольчика над моей головой, что спустился уже, кажется на три пролета и начал взбираться на четвертый, прежде чем почувствовал, что, вероятно, иду не той дорогой.

Пройдя еще двадцать ярдов по узкому проходу, я оказался в тупике. Передо мной стояли огромные железные ворота, запертые ржавой цепью с замком. Тут я определенно забеспокоился. Нет, зачем же мне врать? Я откровенно запаниковал. Я сразу понял, что старая карга завела меня — чу-

жого в этом городе и желторотого, как птенец, — в удобную ловушку и что с минуты на минуту какой-нибудь ее верзила-племянник набросится на меня, даст по маковке и обдерет как липку.

И я наполнил легкие, готовясь отчаянно звать на помощь, а голова моя приготовила свою маковку. Я подождал... потом подождал еще минуту. Юный верзила, должно быть, забыл о нашем небольшом жестоком свидании, так что я поспешил вниз по ступеням так быстро, как только позволяли мои старые ноги.

Достигнув подножия первого пролета по дороге обратно, я увидел, что налево отходит переулок, который я, должно быть, пропустил раньше. С виду он был длинный, темный и сырой. Не могло ли так случиться, что старушка включила в свои пояснения еще один поворот и что я прослушал ее? Или, может, она собиралась о нем упомянуть, но подзабыла, и, стало быть, ошибка на ее совести? Как бы то ни было, я решил, что пройду по этому переулку минуту-другую, и, если табачный магазин за это время не покажется, я просто развернусь и сразу отправлюсь обратно.

Что ж, могу только предположить, что, пытаясь вернуться, я незаметно для себя еще раз свернул налево или направо. Потому что через

пять минут я испытывал такие чувства, словно стал жертвой розыгрыша, в котором полдюжины рабочих сцены постоянно меняли декорации, стоили мне только уйти за кулисы. Как бы то ни было, стены переулков казались прочными и вовсе не напоминали театральный реквизит. В них я не находил ни единой подсказки, чтобы сориентироваться. Другими словами, я совершенно заблудился.

Затем я неожиданно вспомнил о своей прославленной карте, достал ее и изучил с особым тщанием, как будто сама энергия моего взгляда могла вытянуть из нее нужные мне сведения. Но, конечно же, карта совершенно бесполезна, пока вы с точностью не установите, где находитесь, а поскольку на стенах вокруг меня не было ни единой таблички, с таким же успехом я мог бы держать в руках чистый лист бумаги и пытаться найти дорогу с его помощью.

Должно быть, я шатался по этим переулкам уже почти три четверти часа, и все это время карта бесполезно трепыхалась в моей руке. Мой разум стал ареной, на которой сошлись в жестокой схватке два голоса... один уверял меня, что через минуту я покину страшный каменный лабиринт, а другой орал, что я никогда не выйду живым.

За все это время я не встретил ни единой души. Стояла промозглая, холодная погода, и все окна и двери были плотно закрыты. Если бы я блуждал в пустыне, подумал я, то у меня было бы ровно столько же надежд на поддержку. Доходные дома громоздились со всех сторон, и время от времени я забредал в их дворы. Несомненно, в нескольких футах от меня были люди, которые знали этот лабиринт как свои пять пальцев, но они были слишком заняты, греясь у очага, чтобы обращать внимание на глухие призывы какого-то старика. Единственными признаками жизни были редкий крик младенца или отдаленный собачий лай, что эхом носились взад-вперед по безлюдным переулкам. Будь у меня выбор, я предпочел бы слышать только собственные шаги, а не эти жуткие, тревожные звуки.

Я пересек мощеную долину и каменистую лощину. Я столько раз менял направление, что заработал головокружение и забыл, в каком городе нахожусь. Я загнал себя до полного истерического изнеможения, когда неожиданно вышел на божий свет и оказался на узком мостике, перекинутом через оживленную дорогу внизу. Под моими ногами, на дне этого городского каньона, улица кишела повозками и покупате-

лями, оживленно снующими туда и сюда. Но мой мостик перескакивал через нее, чтобы исчезнуть в темном переулке на другой стороне.

Жадно взирая на всю эту людскую массу, я заметил ряд из трех или четырех крохотных магазинчиков. Среди них я увидел один, чьи витрины служили приютом целой гряде холмиков свежесвернутого табака и многочисленным полкам с трубками. Я увидел, как дверь магазина открылась, услышал, как почти беззвучно прозвенел колокольчик, и владелец в аккуратном белом переднике вышел на улицу. Он взглянул по сторонам, словно ждал меня, посмотрел на часы и повернулся, чтобы снова войти в магазин.

Я закричал — заорал во весь голос — так громко, что не удивился бы, сойди с его витрины лавина табака.

— Эй! Там, внизу! — вопил я, приложив руки ко рту.

Но табачник исчез. Когда он закрыл дверь, я опять услышал, как коротко звякнул колокольчик, но вскоре его звук был подхвачен и смыт ветром, колесами и лошадиными копытами. Я оттолкнулся от перил и на этом самом месте смирился со своей судьбой — навеки застрять в небе.

Сейчас для меня было бы ничуть не проще объяснить, как я выпутался из этой головоломки, чем рассказать, как я вообще туда попал. Определенно находчивость или расчет с моей стороны не имеют к этому никакого отношения, и, хотя мне странно слышать, как я это говорю, меня не покидает ощущение, что часть меня до сих пор томится в плену этих переулков... обреченная блуждать, измучившись, до скончания века. То, что от меня осталось, внезапно оказалось выброшено назад на Хай-стрит, как будто злонамеренная сила, что удерживала меня для развлечения, наконец, пресытилась и выплюнула жертву.

Теперь сама мысль о табаке вызывала у меня отвращение. Так что я отряхнулся и в самом плачевном состоянии отправился на розыски верного Клемента. Я прошел мимо того места, где старая леди с одним стеклом в очках продавала свои путеводители. Если б она до сих пор стояла там, я бы, наверно, хорошенько на нее накричал, хотя не могу точно сказать, что именно я бы кричал и надолго ли меня хватило бы.

Эдинбург, 10 января

Должно быть, уже ближе к вечеру я набрел

на унылое маленькое кладбище при Францисканской церкви. Капли воздуха, наполненные дневным светом, медленно пустели и остывали.

Я побродил между надгробиями в их видавших виды зеленых и бурых мантиях, почитал эпитафии торговцев лошадьми, проповедников и врачей. Потешил себя мыслью, что даже самые высокомерные, надутые доктора не избегают смертельного притяжения земли.

Сел на скамейку, запахнул пальто и смотрел, как мир медленно скользит сквозь оттенки серого; перемена эта была столь постепенна по своей природе, как будто ее производили мои собственные легкие. Помню, я размышлял, чем эдинбургские сумерки могут отличаться от английских, обдумывая сопутствующие вопросы о тьме и свете, и, так или иначе, достиг таких высот озарения, что незаметно для себя задремал.

Видимо, я метался по отмели бессознательного сравнительно долго, ибо, когда я вдруг очнулся, было уже гораздо темнее и холоднее. Левая нога, перекинутая через правую, совсем ничего не чувствовала, и пальцы, сложенные курганом на холме моей коленки, онемели точно так же.

Я принялся осторожно распутывать свои замороженные суставы, думая о том, что это уже

входит у меня в привычку, когда вдруг начал понимать, что на меня изливается божественная музыка. Целый сонм небожителей пел «Хвалите Бога», как будто приглашая меня в небесное царство. На кладбище было совершенно темно и промозгло, но душа моя наполнилась светом. И хотя частички -воздуха оставались сжатыми и пустыми, они оживились, и по ним прокатился трепет.

Прошло какое-то время, прежде чем я собрался с мыслями и понял, что чудесные звуки, которые так взволновали меня, исходят из церкви за моей спиной. Хор разучивал аккорды «Ты, Отец, Создатель мой» и не добрался еще до конца первого куплета, когда их оборвал приглушенный голос хормейстера и, после короткой паузы, заставил снова начать с первой строчки.

Топая ногой, чтобы как-то оживить ее, и растирая кисти рук, я вдруг увидел, как церковь великолепно освещена: все до одной картины на витражах лучились изнутри пламенем свечей. Ангелы, святые, даже агнцы — всех переполняло неземное сияние. Словно громадный корабль, груженный славословиями и душевным светом, подкрался ко мне сзади. И больше ни одного свидетеля его прибытия — только я да завистливые

могилы. Я был поражен тем, что окнами церкви можно любоваться не только изнутри, но и снаружи, и, прекратив топать, стал смотреть, как хор мягко выдувает из стекол лиловые и синие огни.

Я уже вернулся в отель и сидел в ванной, а Клемент тер мне спину, когда до меня по-настоящему дошел смысл моего переживания на Францисканском кладбище. Что там, если я хоть что-нибудь в этом понимаю, мне была показана двойственность Человека. Мы не просто «camera obscura», как я боялся, не просто наблюдаем свет мира. Нет. Мы и «camera obscura», и маяк. Мы принимаем свет и излучаем его.

Эдинбург, 11 января

Опять заходил к Баннистеру. Он не открыл дверь. Больше того, он довольно беспечно оставил ее незапертой. Я зашел и вышел, и никто не обратил на меня особого внимания. Возможно, они приняли меня за какого-нибудь ученого старца.

Сбежал по ступенькам и был уже на полдороге к отелю, когда обнаружил, что порезал стеклом руку. Перевязал ее платком.

Клемент спрашивал, как я порезался. Сказал ему, что упал. Собрал чемоданы, без особого

вмешательства с его стороны, и мы прибыли на станцию почти к самому поезду.

12 января

Снова дома. Поместье выглядит даже более холодным и пустынным, чем раньше.

Разобрал вещи, принял ванну и через пару часов вернулся к привычной жизни.

Месяц назад я был совершенно убежден, что мое собственное тело, или какая-то часть его, замышляет меня сломать.

Теперь я понимаю, что беспорядок под самой крышей — это мой рассудок не в порядке.

20 января

Вчера ночью стоял на балконе. Кругом бушевал ветер. Выудил из кармана отцовскую трубку-башмак, но обнаружил, что та раскололась пополам. Должно быть, я сел на нее. Поэтому я просто постоял в тапочках, прислонившись к балюстраде, а ветер вздымал полы моего халата и свистел у меня в ушах.

Немного погодя — наверно, где-то через час — над озером появился странный туман. Он тихо прокатился по аккуратным газонам и просочился сквозь изгородь. Я стоял и смотрел, как он сгу-

щается, смотрел, как он плещется у стены подо мной. И вскоре весь дом плыл в нем, начиная тихо скрипеть и покачиваться. Мы бороздили молочный океан, и я в тапках стоял у штурвала.

Потом облака постепенно разошлись, обнажая небо, полное измученных звезд. Я замерз, устал, ослабел, у меня заболели ноги. Я был растерян, одинок и не находил опоры в тумане внизу. Так что я сориентировался по звездам, взял курс на Котсуолдс и отправился спать.

Ночью мне приснился кошмар.

Я видел небольшой корабль с двадцатью людьми на борту, который тралил рыбу у берегов Исландии. Сеть была заброшена, и команда готовилась тащить вечерний улов. И тут капитан, который стол на мостике и чье общество я разделял, увидел, что дела наши плохи. Стрелка компаса дергалась под стеклом, и судно по своей воле кренилось на правый борт.

Был отдан приказ выправить его, но парень, который боролся со штурвалом, посетовал, что его усилия тщетны. Он обернулся к капитану.

— Это Северный полюс, — закричал он, — тянет нас к себе.

Потом я уже не стою рядом с капитаном, а парю

высоко над морем, в холодном ночном воздухе.

Я слышу, как стенают люди, взывая в темноту. Кто-то прыгает за борт, в замерзающие волны. И я понимаю, что это магнетизм полюса захватил металлический корабль и неумолимо притягивает к себе. И что когда они достигнут Северного полюса, стрелка компаса будет крутиться, и ледяные челюсти разорвут корабль в клочья.

Этим утром, глядя на себя в зеркало, я заметил на своем левом плече родинку, которой никогда раньше не видел, и, повернувшись, разглядел, что она была лишь частью значительной россыпи, протянувшейся через всю мою спину. Огромное созвездие пятнышек, расположившихся от плеча до самого пояса.

Интересно, может ли существовать какая-то связь между этими родинками и звездами, на которые я смотрю по ночам? Несомненно, есть что-то похожее на Орион в этой грозди под лопаткой.

В следующий раз, когда я выйду ночью на балкон, сравню их. Возьму с собой зеркало.

24 января

День был серым и утомительным. Ничего замечательного, если не считать письма от про-

фессора Баннистера (грозящего мне тридцатью тремя несчастьями, включая полицию, на что я предпочел бы не обращать внимания) и опыта, который я предпринял, сидя за столом в ожидании обеда.

Обнаружил, что мое внимание привлекла кружка воды примерно в двух футах передо мной. Несомненно, та же самая кружка, что стоит здесь каждый день последние десять или двадцать лет. Однако сегодня я заметил, что она задрала свой маленький носик и презрительно отвернулась от меня, и, когда я наклонял голову, чтобы получше присмотреться, вода в ее чреве отбрасывала всякого рода преломленный и неверный свет.

Моей первой мыслью было кинуть туда что-нибудь. Бросить что-нибудь в воду и испортить ей веселье. Я подумал: «Если сейчас принесут обед и на тарелке будет пюре, брошу туда целую ложку». Но потом я подумал: «Нет, никакого пюре. Обуздав энергию мысли, я отправлю треклятую штуку со свистом через весь стол и с размаху об пол».

Стоит упомянуть, что уже довольно давно меня занимал вопрос, не может ли человек заставлять предметы двигаться, используя силу своего ума. (Где-то у меня были записи.) Итак, я приступил прямо к делу и сосредоточил свое внимание на

этой чванливой кружке, уставившись на нее с концентрированной яростью и распалив в себе столько умственной энергии, что вскоре мои уши стали горячими, как тосты. Я смотрел, я устремлял на нее свой взгляд и мычал, но мои усилия были напрасны. Проклятая кружка не сдвинулась ни на йоту, что, конечно же, было глубоко унизительно. Меня провела обычная кружка!

Когда наконец-то прибыл обед, я сказал миссис Пледжер, что меня уже тошнит от вида кружки для воды, и попросил, чтобы ее немедленно убрали. Впрочем, сейчас я думаю — что, если причина неудачи кроется не в моих умственных изъянах, но в необыкновенном упрямстве кружки.

Вечером, лежа в постели, я оглядел все пузырьки и бутылочки со всеми лекарствами, порошками и пилюлями на своем ночном столике. Как весело они звякали друг об друга, когда мимо двери проходила горничная. Я уверен, что это как-то связано с кружечной историей, хотя не могу представить как.

28 января

Почти все они гаснут или исчезают. Мы похожи на мистера Сноу больше, чем нам бы того хотелось. Но иногда воспоминание или его обрывок

упорствует. Свербит, словно камешек в ботинке.

Оно как будто выслеживало меня с тех пор, как я впервые потревожил его в оленьем парке, но даже если бы я знал, что оно подкрадывается ко мне, я что-то сомневаюсь, что смог бы от него укрыться. Оно неслось на всех парах, сила была на его стороне.

Началось с того, что я по привычке взял в руки свою «Анатомию Грэя», и она открылась на титульном листе, где я отчетливо увидел имя «Картер», которому приписывались все иллюстрации в книге. Я не знал, что это имя так глубоко запечатлелось во мне — ведь я брал эту книгу не меньше дюжины раз, — и уже поднимался из кресла, чтобы помешать угасающие угли, когда внезапно ощутил, как нечто значительное охватывает меня...

Я замер. Я напряженно прислушался. Что-то шевелилось во мне. Как будто пришел в движение целый ряд забытых шестеренок; словно имя в книге запустило машину в глубине моей памяти.

Свободная рука вцепилась в каминную полку, и я почувствовал, что все меньше присутствую в комнате. Я услышал голос, кричащий сквозь годы: «Картер». Затем...

Я снова мальчик, в семейной карете, которая остановилась на пляже и теперь заполняется туманом.

Мой отец высунул голову в окно. Кучер спорит с другим человеком, которого я не вижу. Я не понимаю, что они говорят. Я слышу лишь, как перекликаются голоса, все выше и выше, и вдруг умолкают.

Человек с длинной палкой в руке и кожаной кепкой на голове проходит мимо окна кареты, направляясь туда, откуда мы приехали.

— Картер, — окликает его мой отец.

Этот Картер со своей кепкой и палкой ничего для меня не значит. Но я знаю: я хочу, чтобы он остался. Я смотрю, как он уходит в туман по холодному, ровному песку, и, когда туман уже почти поглощает его, я вижу, как он оборачивается и кричит:

— Идите за мной. Последний раз предлагаю.

Секунду он ждет, потом разворачивается и исчезает.

Кажется, мама плачет. Вслед за ней принимаюсь плакать и я. Через минуту она говорит:

— Не волноваться. Не надо волноваться. — Но это не помогает, потому что все мы волнуемся сверх всякой меры.

Затем отец убирает голову в карету и награждает меня неубедительной улыбкой. Он говорит, кучер уверен, что знает дорогу. И словно чтобы подтвердить его слова, карета спущена с тормоза, и мы снова едем. Мы движемся сквозь туман, но этого недостаточно, чтобы успокоить меня. И я сосредотачиваю все мое внимание на песке, летящем из-под колес, чтобы не пугаться слез моей мамы и неубедительной улыбки отца.

Я так успешно кутаюсь в собственный мирок, что почти перестаю бояться. Отец говорит со мной и смотрит на песок, а глаза матери высохли. Но затем карета ужасающе резко тормозит, и мой драгоценный песок останавливается навеки.

Отец снова высовывается в туман, который теперь несет с собой запах моря.

Кучер говорит отцу:

— Сэр, возможно, нам стоит повернуть назад.

Моя рука так яростно сжимает кочергу, будто я собираюсь причинить кому-то ужасное зло. Но тот загадочный механизм, который во мне встрепенулся, снова заклинило, и я остался глядеть на огонь, вцепившись в каминную полку. Я тыкал и толкал угольки, но они отказались оживать.

Показания горничной

Мне больше всего врезались в память три случая... Вы точно уверены, что мне стоит об этом упоминать?.. Так вот, первый — это когда я проработала в доме всего месяц или два и толком еще не освоилась, я шла через подвал, кажется, на кухню, и увидела, что он сидит в темноте, на ступеньках.

Он вроде как решил, что меня зовут Рози. Не представляю, с чего он это взял. Но миссис Пледжер предупреждала меня, что у него в голове и так все перепутано и что в таких случаях лучше и не пытаться его поправить.

Ну вот, он спросил меня, куда убрали тележки. А дело все в том, что от кухни до лифта в столовую идти довольно далеко, так что в пол коридора вделаны рельсы, и, когда еду нужно подавать наверх, ее кладут в железные ящики и везут на колесиках по рельсам. Я так поняла, что именно за этими тележками и охотится старый Герцог, и сказала ему так вежливо, как только могла, что, по-моему, их все заперли, и собиралась уже пойти дальше, когда он вскочил, схватил меня за руку и стал настаивать, чтоб я помогла ему их разыскать.

Ну, честно говоря, я-то надеялась, что мы их не найдем. Вся эта затея здорово действовала мне на нервы, и я совсем не так обрадовалась, как он, когда мы обнаружили одну тележку в углу за буфетами рядом с главным коридором. Ну, а когда она отыскалась, я извинилась и совсем уж было собралась уходить, но старый Герцог... прошу прощения, Его Светлость... не хотел ничего слышать и настаивал, чтобы я ему помогла.

Вот, и он... ох, я даже не знаю, как сказать... но он заставил меня... заставил... толкать тележку взад-вперед... и его вместе с ней. Он забрался в тележку, туда, где обычно ездят тарелки и миски, и я толкала его туда и сюда по коридорам... и быстро.

Ну, вот я это и сказала. Господи... ох, извините, сейчас, только дух переведу... Ох ты, батюшки... Ну и ну.

Второе... так, что там было второе? А, да. Что они обнаружили Его Светлость... тут я должна сказать, что лично меня при этом не было, но моя близкая подруга Молли там была, а она бы врать не стала... что однажды утром они нашли его в подъемнике, в котором мы обычно возим уголь из подвала. Просто сидел, когда они его подняли. Весь скрюченный в угольном лифте, с таким

черным лицом, что любо-дорого.

Молли рассказывала, что была готова завопить — да и кто бы не завопил? — но он прижал палец к губам и опередил ее. Он сказал, что если она очень внимательно прислушается, то сможет услыхать шахтеров глубоко под землей. Сказал, что слышно, как они выкапывают уголь.

Ну, после этого она попросила снять ее с угольной работы. Сказала, что лучше уж она будет подметать каждое утро мавзолей, чем отважится еще раз пережить подобное.

Третье, что я никогда не забуду, и последнее, что мне хотелось бы здесь упомянуть, случилось не так уж давно, когда я шла с утра на работу, прямо на рассвете. Я уже подходила к дому и думала о том, как оживает природа и как пахнет весной, и тут вдруг вижу — на дереве болтается странная штука. Очень необычная. Я еще подумала, что она выглядит совсем как человек. Ну конечно, это и был человек. Сам Герцог, зацепившийся брюками. Висел себе на дереве.

Я подошла и окликнула его. Спросила, не нужно ли ему как-то помочь. И он объяснил, что разведывал обстановку с бутонами и, кажется, зацепился брюками за сучок, Я спросила, давно ли он там висит, а он сказал, что не очень, но

что, если уж я собираюсь оказать какую-нибудь помощь, мне следует поторопиться, потому как неизвестно, сколько еще продержатся брюки. А падать было прилично.

Тогда я пошла и позвала Клемента, который тут же побежал к нему. Пришлось взять лестницу, чтобы его снять.

Да уж, такое захочешь — не забудешь. Его Светлость висит на дереве.

Из дневника Его Светлости

3 февраля

Должно быть, у меня переутомление или какое-нибудь нервное истощение. Что-то со мной определенно не так, ибо в последнее время я страдаю от явлений, которые могу описать только как «представляй™» — краткие смещения памяти. Все утро меня донимали воспоминания о шпилях из Эдинбурга, которые беспрестанно скребли мой череп изнутри. Позже, днем, пережил сущий кошмар с картинкой головы, которую дал мне Меллор, — френологическая схема, где человеческие свойства представлены таблицей крохотных фигурок.

Я пришпилил ее к стене над своим алтарем и стоял, созерцая различные комнаты в голове. Я медленно переходил от одной комнаты к другой, и все шло как по маслу, когда я вдруг увидел, что один из этих малюток ерзает на стуле. Ничего особенного, просто потягивается, как это делают, долго просидев в одной позе. Когда я взглянул на него еще раз, он снова был совершенно неподвижен, но теперь сидел, как мне показалось,

немного более натянуто, словно задержав дыхание. Я ждал, не сводя с него глаз, пока, наконец, он едва заметно не вздохнул.

Потом я заметил пожилую леди в соседнем отделении, которая как ни в чем не бывало почесывала голову. Затем девушка из комнаты наверху наклонилась, чтобы поправить шнурок на ботинке. Тут я отступил от картинки и увидел, что все фигурки то и дело приходили в движение и что каждый из них занимался своим делом. «Как удивительно, — подумал я. — Какая гармония. Каждый жилец счастлив в своих четырех стенах».

Но на моих глазах угрюмый малый из комнаты, подписанной «Стяжательство» (скряга, подсчитывающий столбики монет), откинулся в кресле и принялся озираться вокруг, пока его взор не упал на девицу из Музыкальности, которая тихо бренчала на гитаре. Во взоре скряги теперь читалась откровенная похоть. Он поочередно оглянулся через плечи и поднялся на ноги. Затем безо всякого спросу ухватил свою трость и принялся разносить стену между ними, и вскоре предстал перед девицей, оглядывая ее с самым безнравственным видом.

Тем временем лиса в Скрытности неподалеку

начала скрести стену, почуяв, что с другой стороны пухлая курица Осторожности высиживает свою кладку яиц. Вскоре лиса прорыла себе дыру, пролезла в нее и, ухватив птицу за горло, принялась мотать ее из стороны в сторону.

А теперь дюжие боксеры Воинственности услышали крики Музыкальности и на пару мгновений приостановили схватку, а поняв, что бедная девушка в беде, стали пробиваться к ней с голыми кулаками. Вскоре они проникли внутрь и накинулись на скрягу; один из них держал его, а второй бил по лицу, и тогда добрый самаритянин из Милосердия услышал стонущего скрягу и оставил своего больного, чтобы ввязаться в драку внизу.

Большая кошка Агрессивности унюхала сочный пласт мяса Прожорливости и бросилась на стену с когтями. Прекрасному семьянину из Чадолюбия, похоже, надоели жена и ребенок, и он стал с вожделением поглядывать на обнимающихся девушек Дружбы.

В другом месте я увидел, что херувимчик Влюбчивости вложил стрелу в свой лук и наводит ее на лису с курицей в зубах, а Совестливость упрямо воздевает свои весы и беспомощно смотрит вокруг.

Вся голова была во власти беззакония, повсюду рушились стены, и личина цивилизованности сползала, обнажая зверскую природу человека.

15 февраля

Я работаю над очень необычной теорией, в основном связанной с костями.

Первым делом должен заметить, что кости пока изучены совершенно недостаточно. Я считаю, что их слишком часто упускают из вида. Если поразмыслить о том, что каждая живая тварь на этой земле оставляет после себя целый набор ребер, бедер и берцовых костей, начинаешь понимать, сколько этого добра должно быть раскидано вокруг. Можно сказать, что весь мир — всего лишь огромное кладбище, куда мы заглянули на пикник.

Но мои мысли в основном сосредоточены на китовых костях — любому ясно, что они самые большие в мире. Сколько всего китов в море? Миллионы, не меньше. Таким образом, возникает вопрос: что происходит со всеми этими костями, когда их владельцы умирают? Не может быть, чтобы, обглоданные дочиста падальщиками, они оставались гнить на океанском дне. Иначе к этому времени они торчали бы из океана огром-

ными кучами. Судоходство остановилось бы.

Нет. Дело в том, что их каким-то образом упорядочивают — выкладывают рядами, образуя в некотором роде Мировую Костяную Сеть. Кто стоит во главе этого предприятия? По-видимому, международный комитет. Несомненно, здесь замешаны французы. Насколько я могу судить, эта сеть состоит как из продольных, так и из поперечных перекрещенных линий, большинство которых скрыто под водой. На суше эта громадная сеть зарыта глубоко в землю.

Назначение этой костяной паутины? Я пока не уверен, но ограничил ответ следующими вариантами:

(i) нечто вроде «скрепы». Способ поддержать Землю, не дать ей треснуть и развалиться от старости;

(ii) некий действенный способ связи между правительствами, при посредстве колебаний;

(iii) прутья решетки. Этот мир — просто клетка.

Записываю вышеизложенное, чтобы оно не кануло в Лету, но вместе с тем, чтобы подойти к другой аспект всей этой истории, на который я недавно обратил внимание...

Сегодня в четыре пополудни мне пришло в голову, что миссис Пледжер на самом деле — корабль и что именно юбки ее, наполненные порывами и дуновениями этого дома, несут ее из комнаты в комнату. Лишь сегодня за обедом, когда я, увидев, как она вплывает в мою комнату с миской овощного супа в руках, я, наконец, догадался об этой мореходной связи. Она лавировала вокруг дивана, ориентируясь по голове Фаулера на камине на севере и по бюро на востоке. Глядя, как она приближается, я подумал: «Должно быть, в ней спрятано немало такелажа, раз она такая управляемая и подтянутая».

Я с интересом наблюдал, как она бросила якорь на коврике у камина и поставила суп на стол рядом со мной. Когда она наклонилась, моему взору открылся ее пышный груз, великолепно уложенный и обвязанный, и, увидев, что я подглядываю за ней, она окатила меня своим ледяным взглядом. Теперь все сходилось как нельзя точнее, и я бесцеремонно подмигнул ей. Я как бы говорил этим: «Все кончено, миссис Пледжер!» Но она не собиралась выкладывать карты. О, нет. Она только поджала губы, этакая цаца. Я понял, что мне придется вытягивать из нее правду.

— Вы крупная леди, миссис Пледжер, — сказал

я и подождал, глядя, как подействовало мое замечание. Она уставилась на меня, но не произнесла не слова, так что я продолжил: — Будьте так добры, миссис Пледжер, расскажите мне о костях.

Она изо всех сил постаралась принять скептический вид, но было ясно, как день, что я ее прищучил.

— Про какие это кости вы спрашиваете, Ваша Светлость? — ответила она, краснея.

— Ну, как же, про китовые кости, которые скрепляют нас всех, — хладнокровно парировал я и, наклонившись к ней, добавил: — А может, про те, секретные, благодаря которым вы такая статная.

Она была по-настоящему напугана. Я торжествующе откинулся на стуле.

Полагаю, я запросто могу оказаться первым мужчиной, понявшим важность китовых костей, зашитых в каждый женский корсет. Не удивлюсь, что в эту самую минуту миссис Пледжер посылает сигналы костяным сообществам. Возможно, именно поэтому женщины такие странные. Все они в заговоре с китами.

Каковы бы ни были истинные корни всей этой истории — а я полагаю, копать до них еще порядочно, — поведение миссис Пледжер не оставляло

сомнений, что она задета за живое. Раскрыта целая эпоха спрятанных костей!

Я еще раз подмигнул ей и увидел, как она прошествовала через всю комнату. Она остановилась у фруктовой вазы, взяла апельсин, повернулась и швырнула им в меня. Он летел мне аккурат между глаз. Я слишком поздно пригнулся; он отскочил от макушки и плюхнулся прямо в суп.

Мы секунду помолчали.

— Превосходный выстрел, миссис Плед-жер, — объявил я.

Она выскочила из комнаты, которая потом долго продолжала сотрясаться.

Так вот, я ничуть не против держать на службе женщину, по уши затянутую в кости. Миссис Пледжер прекрасная женщина — я всегда это говорил, — и я искренне надеюсь, что хозяева не накажут ее из-за моих разоблачений. В конце концов, никто из нас не безгрешен по этой части — мы все прячем свои кости.

Апельсин покачивался среди остатков овощей.

— Опять в моем супе фрукты, — сказал я.

19 февраля

Даже не помню, как давно я нездоров. И наверху, и внизу. Задолго до того, как та боль

отправилась гулять по мне, меня начало что-то терзать. Что-то всегда меня терзало.

Наша беда, как я постепенно начинаю понимать, в том, что все мы в плену нашей собственной кожи. Наши тела с их невероятными возможностями — это и наши казематы, где мы осуждены томиться. Наши ребра — решетки наших крохотных камер. Мы заточены в плоть и кровь.

Рано или поздно слабость нашего тела начинает тащить нас вниз, и нам не остается ничего другого, как следовать за ней. Болезнь, поражающая нас, — это пытка, которую мы обречены терпеть. Мы не можем устраниться.

Бывает, что мои чувства — загадка для меня самого. Как правило, самое большее, на что я могу надеяться, — это выдержать их, постараться не быть смытым волной. Как чудесно было бы отпустить мысли блуждать на волю, не отягощая их веригами кожи и костей. Иметь возможность собраться всем вместе и общаться со всеми другими душами.

Теперь я понимаю, что во мне два очень разных человека. Сознание и мешок костей, который оно таскает за собой. Я думаю, тело — это просто вместилище. И пускай кто угодно смотрит на него как на храм, о какой службе может идти речь в

этих грязных, обветшалых развалинах?

Трансцендентности жаждет душа моя. Я хочу дать глубочайшей части меня вознестись и вдыхать воздух. Ужасная раздвоенность жизни, навязанная мне плотью, — вот что со временем стало тяготить меня.

Все, чего я хочу, — это впустить немного света. Выпустить хотя бы часть себя наружу.

24 февраля

Бритва была странной на ощупь. Незнакомой. И ножницы тоже. Был так возбужден, что все мое тело чесалось. Есть что-то странное в том, чтобы сбрить бороду после стольких лет, прожитых бородачом. Теперь мне кажется, что моя кожа совершенно голая. Мясистая, как свежеощипанный гусь.

За пару минут ножницы состригли большую часть — комки белых волос скатываются в раковину. Маленькие кустистые шарики покоятся на фаянсе, затем смываются поворотом крана. Я приобрел буквально измятый, потрепанный вид. Но потом, после мыла и бритвы, я стал чуть менее диким. Моя шея разрушилась, пока была сокрыта от глаз. Дряблое изобилие мешковатой плоти свисало поверх пары тугих растяжек.

В общем и в целом, признаюсь, зрелище поразительное, как я, собственно, и ожидал. Подбородок совсем не такой, какой я похоронил много лет назад под щетиной. Ямочка исчезла. Как любопытно вновь узнать самого себя. Обнаружить, что наши самые близкие отношения изменились.

Когда я начал кромсать ножницами волосы на голове, меня стал разбирать смех. Я просто не мог сдержаться. Ощутил, как сильно кружится голова, а когда я стал ее мылить (восхитительное чувство), понадобилось снова подавлять хохот. Пришлось медленно дышать и взять себя в руки. Всего лишь мои глаза глядят из зеркала. Спокойствие. Спокойно.

Весь мой купол белый от пены, не считая нескольких кровавых цветков там, где я порезался. Лезвие громко скрежещет за ушами. Вел бритву от них, чтобы не отхватить их, если дрогнет рука. Оставил брови в покое, от греха подальше, и не успел оглянуться, как уже смывал последние пузырьки.

Может, я пропустил пару-тройку клочков на затылке. Для них мне понадобится второе зеркало. И все же, наконец, вот он я — откровенно гадкое зрелище. Теперь уже не смешно. Чахлый обрубок человека. Испугался, что сейчас заплачу,

как младенец.

Припудрил все тальком, чтобы прикрыть крохотные порезы и постараться отвлечься. Затем с минуту или две сидел в спальне и старательно делал вид, что читаю. Встал и вернулся к зеркалу.

Уже гораздо спокойнее. Голова не так кружится. Не встревожен, как раньше. Постоял перед каминным зеркалом, говоря: «Да. Именно это и надо было сделать». И тут я внезапно увидел ее. Она прямо-таки бросилась мне в глаза. Справа от моего отражения со своим обычным непроницаемым видом стояла фарфоровая голова Фаулера, и теперь, когда моя макушка белела от талька, мы вдвоем напоминали родственников. Как странно. Никогда бы не пришло в голову. Недостает лишь надписей и разделительных линий.

Развязал халат и подошел к большому зеркалу. Снял брюки. Какой бледный старик. Смотрел на себя, пока не превратился в незнакомца. Через некоторое время увидел во плоти схему из «Целительства в Древнем Китае», со всеми притоками, журчащими вверх и вниз по моим рукам и ногам.

Я вообразил свой живот, набитый разными травами миссис Пледжер. Обнаружил, что нашпигован ими, как индейка.

Я увидел те же органы, тех же сонных рыбин, что видели во мне сестры Дубли.

И посреди всего этого я нашел свое дерево костей, свой личный скелет.

С головой, совсем как Фаулерова, примостившейся сверху, и с двумя глазами, что уставились на меня из пустоты, я увидел в себе подобие живого синтеза. Слияние всех географических карт человека.

25 февраля

Я заперся в спальне и немного походил. Отпер дверь, крикнул «не беспокоить» и постоял, пока слова пронеслись вскачь туда и обратно по коридору. Я уже основательно захмелел, израсходовав четверть бутылки бренди. Возможно, я даже немного пошатывался, отправляя себя обратно в комнату и запирая за собой дверь. Я еще не перешел той грани, чтобы напиться до беспамятства, но не сомневался, что во мне уже достаточно обезболивающего.

Сгорбился у туалетного столика, где были разложены все инструменты и полотенца. Зеркало, которое обычно стоит над камином, я положил на поверхность стола. Триптих туалетных зеркал я наклонил вперед где-то на 45 градусов и

расположил голову между ними почти так же, как ее засовывают в пасть льва. Слегка поправив верхнее зеркало, я нацелился на макушку. Бутылка бренди была под рукой, на случай если мне понадобится глотнуть еще.

Я помню, как постучал пальцем по верхушке черепа, прежде чем начать. Кожа была податливой и теплой. Затем я взял скальпель и сделал первый надрез — около двух дюймов в длину — со стороны затылка вперед. Я нажимал, пока не почувствовал, как лезвие скребется о кость. В ушах моих заскрежетало. Почти сразу же из аккуратной линии выступила кровь; одинокая черная бусина покатилась вперед, и другая подобная ей — назад. Я сделал второй надрез, примерно той же длины, в точности рассекающий первый пополам, так что теперь на моей макушке был крест — и к тому же кровоточащий.

Боль, конечно, была, но далекая и какая-то размытая. Я сделал пару глотков из бутылки и подождал, пока алкоголь проникнет в мои вены. Затем я снова расположился между зеркал, протянул обе руки и осторожно отвернул четыре заостренных лоскутка кожи. Я словно вскрывал конверт; плоть слегка прилипала, и каждая створка отделялась неохотно. Боль, как я уже ска-

зал, была, но хладнокровное любопытство было сильнее, и моя завороженность приглушала ее. Когда я закончил, результат был потрясающим: четыре лепестка на диковинном растении.

Я промокнул голову полотенцем (поднес его белым, а отнял ярко-красным), и оно впитало достаточно крови из маленького озерка, чтобы обнажить пугающий проблеск кости.

Я собрал трепан Баннистера. Мне уже несколько раз довелось практиковаться, держать его в руках. Ибо при всем изяществе отделки его деревянных и стальных частей, при всей плюшевой обивке его футляра, устройством он мало чем отличается от штопора, за исключением пилы с крохотными зубчиками, которую я сейчас насаживал на его конец.

Я выбрал пилу диаметром три четверти дюйма и глубиной около полутора. Подумал было глотнуть еще бренди, но решил, что избыток алкоголя может сказаться на твердости моей руки. Итак, при помощи своих зеркал я вставил трепан в самую сердцевину этого кровавого цветка и начал крутить. Резец, процарапывающий окружность, издавал ужасный хрип — как стул, который двигают по голому полу, — и он отдавался во всем теле, особенно в челюстях.

Наш череп, как я обнаружил, на удивление крепок. Больше похож на тиковое дерево, чем на яичную скорлупу. Через три или четыре минуты обе мои руки совершенно затекли, и мне пришлось опустить их и дать им немного отдохнуть. Остановившись в первый раз, я вынул трепан и ясно увидел кольцо, которое он пропилил в моем черепе. Несколько минут спустя я вернулся к работе, смазав пилу маленькой кисточкой, и обнаружил, что она легко вошла обратно в канавку.

Когда я решил сделать следующий перерыв, то выяснил, что на самом деле запросто могу оставить инструмент в черепе (или, скорее, что он с трудом выходит из него). И я посидел с минуту перед зеркалом и хлебнул еще бренди, а штопор торчал у меня из головы. В целом, думаю, я останавливал свою работу и отдыхал подобным образом с полдюжины раз, а вся операция заняла где-то порядка получаса. Конечно, чем глубже я погружался в себя, тем труднее давался каждый оборот. Вдобавок мои действия порождали довольно едкий запах, которого я изо всех сил старался не замечать.

Со временем я совершенно изнемог и начал спрашивать себя, завершу ли я когда-нибудь на-

чатое. Раз или два меня охватила волна тошноты, и мне пришлось держаться за туалетный столик, пока она не схлынула. Трепан сделался липким от крови, и я, кажется, остановился, чтобы вытереть руки, когда услышал тихое шипение.

Я ускорил дьявольские витки — голова моя ощутимо пульсировала, — пока не почувствовал, как инструмент немного накренился. Я осторожно продолжил вращать прибор — теперь медленно, — и, слегка покачав, мне удалось извлечь его из головы. На конце трепана я обнаружил круглый кусок окровавленной кости. Я прошел! Я откупорил себя! Наконец-то смог сломать эту стену, отделявшую меня от внешнего мира.

Я откинулся на стуле. Слегка кружится голова, но зрение неожиданно устойчивое. Я слышал пыхтение и сопение, исходящие из полости на моей макушке. Я чувствовал, как воздух забирается мне под череп, и один раз увидел, как прямо над отверстием вздувается кровавый пузырь, чтобы затем с хлопком исчезнуть.

О своих ощущениях в целом я могу сказать только, что они чем-то похожи на начало прилива.

Восстановив некое подобие равновесия, я нерешительно поднес руку к голове и очень осто-

рожно вставил палец в дыру. Она была глубокой и сырой, как чернильница. Мой палец опускался вниз, пока не коснулся чего-то влажного и теплого. Неужели это действительно мой волшебный сундучок? Неужели это он, ужасный плод?

Забинтовался, пошел в туалет, где меня несколько раз вырвало. Пару часов подремал в кресле. Проснулся и сделал эту запись. Смазал рану мазью. Намерен спровадить себя в постель.

26 февраля

Я слышу голоса. Прекрасные голоса. Голоса повсюду. Прошлой ночью, сидя у огня и накладывая на рану свежую повязку, я разобрал далекий голос молодой женщины, читающей своему ребенку сказку на ночь — историю о мальчике и девочке, которые заблудились в лесу. Я видел, как она в розовато-голубом платье устроилась на краю детской постельки. Явственно представил ее дома, за многие мили отсюда.

Звуки, которые раньше прятались от моих ушей, теперь застенчиво выходят на свет. Этим утром я слышал, как насвистывает мальчик, прохаживаясь по тропинке. Песня, танцуя среди живых изгородей, отыскивает ко мне дорогу.

Я слышу служанку в прачечной — девушка

интересуется, сколько крахмала ей добавлять в воду. Слышу, как девочка стучится в соседскую дверь и спрашивает, может ли ее подруга выйти поиграть с ней.

Но что больше всего воодушевляет меня — это незаметно подкравшиеся звуки природы. Прорастающие луковицы нарцисса, что разворачиваются из тающей почвы. Могучее сердцебиение каждого дуба.

Вокруг стремительно меняется время года. От каждого корня и лозы слышен шепот: «Готовься». Великий заговор весны дышит нам в спину. Все бутоны заряжены.

Должно быть, я заснул на клумбе. Помню, как ночью я прокрался на улицу. Кажется, я к чему-то прислушивался. Наверно, был стражем. Единственное мое воспоминание — как я лежу на холодной, твердой земле и смотрю вверх, на океан звезд. Подрезанные стебли роз указывали мне на звезды и напоминали ветки крошечных деревьев. Помню, я воображал себя огромным детиной посреди застывшего пустынного леса.

Когда я очнулся, ночь была сметена с небес, и звезды вместе с ней, но их мерцание осталось в тонком инее, осевшем на голых розах, и детине, лежащем внизу.

Мне потребовалось несколько минут, чтобы встать на ноги. Кости совершенно задеревенели. Мои брюки стали твердыми, как доски, но, сорванный с розовой клумбы, я поднялся здоровым и полным сил. Проскользнул обратно в свою спальню. Спал почти до четырех.

Этим утром миссис Пледжер нашла выброшенные бинты и оставила записку, в которой спрашивает, что случилось. По трубе я объяснил, что получил пустяковую травму. Она спросила, не нужен ли мне доктор. Я ответил, что не нужен.

28 февраля

В моей руке известковая монета. Маленький диск из моего собственного черепа. Я скреб и скреб ее, пока она не стала белоснежной.

Вопрос — из скольких монет состоит человек? Какова его средняя цена?

Этой монетой я заплатил за свободу. (Вот это мысль.) Просто открыл кошелек и достал ее. Таким способом я, наконец-то, смог распахнуть дверь, ведущую в мир. И теперь части этого мира проникают в меня, который раньше был для них вне досягаемости. В свою очередь, мои мысли выходят в мир. Это честный обмен.

В эти дни я задаюсь таким количеством во-

просов! Спрашиваю себя целый день. Утром я спрашивал, что делать со своей монетой. Может, засолить ее? Или повесить в рамочку? Может, подарить кому-нибудь? Тогда кому? Клементу? Меллору? Ребенку? Я решил, что лучше всего будет закопать ее. Положить глубоко под землей. Говорят, там есть римские монеты. Я просто добавлю одну из своих.

Рана отлично заживает. Боль есть, но она выходит из меня и не путается под ногами, хотя иногда я вижу ее тень. Я приложил к ране вату и замотал бинтом — обмотал всю голову, под челюстью и вокруг черепа. Бинт не дает мне говорить (только сквозь зубы, словно я злая собака), но это невеликая потеря. Теперь я общаюсь с миром другими способами, и, добавлю, с куда большим успехом.

Я решил не показываться своим людям. Думаю, они бы всполошились. Возможно, позже, когда все уляжется. Между тем я попросил, чтобы еду мне оставляли под дверью. Написал Клементу записку. Когда-нибудь весь мир будет посылать друг другу записки. Наши карманы будут переполнены ими.

Только что Клемент принес рагу. Я чувствовал, как он приближался уверенными шагами. Слышал, как он думает под дверью. В конце концов,

он принял решение и ушел, неслышной медвежьей поступью. К рагу я не притронулся.

1 марта

Когда я на цыпочках вышел из дома, рассвет только намечался. Моя первая прогулка за много дней. Я надел шерстяной берет.

Заживает ли она? Мне кажется, заживает, хотя рана все еще побаливает. Если она пока и не заживает, налицо перспектива заживания. Заживание не за горами.

Странно: заглянув в себя на границе Дебрей, не обнаружил почти ни следа страха. Может, чуточку тревоги, но не более. Ничего панического. Перелез через скрипящую ограду и погрузил ноги в листву. Двинулся вперед. Крадучись, совсем как лиса. Зима все еще стояла на своем; темнота по-прежнему таилась среди деревьев и кустов. Земля пружинила под моими башмаками — совсем как древний, отсыревший матрас. Но какое изобилие отовсюду исходит. Какая зеленая надежда вокруг.

Углубился в лес. Ни одна птица не пела. Достал из кармана пальто совок, встал на колени и погрузил его в землю. Она была как черный пудинг. Насыщенная влагой и червями. Копнул дюжину

раз, потом достал платок. Осторожно отогнул четыре уголка и взял кусочек своей кости.

Положил его в холодную нору. Помню, какое-то время дал ему там просто полежать. Думаю, я мог сказать несколько слов. Обстоятельства к этому располагали. Засыпал почву обратно, поверх костяной монеты, и слегка примял землю.

Побродил вокруг, пощупал папоротник и ветки, затем посидел на камне. Нашел хворостинку, чтобы вычистить грязь из-под ногтей. Согрел комочек земли между большим и указательным пальцем.

— Ты жива? — спросил я.

Когда я вставал, мне показалось, что камень подо мной шелохнулся. Я посмотрел на него. Немного поднатужившись, мне удалось его откатить и заглянуть, как мне показалось, в некое подобие колодца. Спичек при себе у меня не было, но я смотрел туда достаточно долго, чтобы разобрать щербатые каменные ступени. Стало быть, никакой это не колодец, а нечто вроде шахты. И постепенно я сообразил: это то самое место, куда выходит старый тоннель монахов. Скромный лаз — предшественник моих собственных подземных аллей.

Будь у меня лампа, я мог бы спуститься на пару

ступенек, но вместо этого решил зайти с другой стороны. Вернулся в свои комнаты незамеченным. Большую часть пути бежал трусцой.

2 марта

Оставил Клементу записку:

> Пожалуйста, снимите все цепи со входа в монашеский тоннель. Также прошу заметить, что в обозримом будущем я буду общаться со всеми работниками дома при помощи подобных записок.

Просунул ее под дверью в коридор и через полчаса почувствовал, как сюда направляется Клемент. Услышал, как он осторожно развернул записку, и мысленно увидел его лицо — сперва озадаченное, потом все более хмурое. Через минуту под дверью появился грубый клочок бумаги, на котором было нацарапано карандашом:

> «Ваша Светлость больна?»

— Нет, вовсе нет, — прошептал я через дверь. Еще записка.

> «Тогда почему Ваша Светлость прячется?»

Поскольку на этот последний вопрос у меня не было подходящего ответа, я позволил вязкой, тугой тишине говорить за меня, и через минуту или две Клемент оставил меня в покое.

Мне еще предстоит ужиться со своими голосами. Я выяснил, что, когда я подхожу ближе двадцати ярдов к другому смертному, его мысли начинают вторгаться в мои. Вчера я слышал, как фермер в Дербишире жаловался на свой обед. «Это мясо слишком жесткое», — сказал он.

3 марта

Сегодня около десяти вечера свистнул в трубу, и по лестнице, пыхтя, взбежал Клемент. Отправил ему записку, в которой попросил зажженный фонарь, и, пять минут спустя, он доставил его под дверь, вместе с собственной запиской, в которой советовал одеться потеплее. Воспользовавшись лестницей за дверью рядом с камином, я отправился вниз, вниз, в темный низ.

Цепи лежали на земле около монашеского тоннеля, аккуратно смотанные. Я поднял лампу и устремился внутрь. Тоннель этот — очень длинный и узкий, очевидно, вырубленный прямо в земле. Пол его усеян холмиками заскорузлой грязи в тех местах, где обвалился потолок. При-

мерно посредине, там, где он немного ныряет, расположен огромный, около 15 футов в длину, участок цветущей плесени цвета заварного крема с карамелью. Через какое-то время я начал мерзнуть и уставать и, чтобы скоротать время, представил себя монахом, топающим по тем же самым тоннелям несколько веков назад, в сандалиях на босу ногу. Сочинил подобие мадригала. Лампа моя швыряла свой убогий свет в темноту, но та не обращала на него внимания. Я будто бы находился в собственном домике из света, со всех сторон окруженном мглой. Она медленно отступала передо мной и шла по пятам сзади.

Со временем мои ноги ступили на каменные плиты, и по изменившейся температуре и свойствам воздуха я узнал, что уже в Дебрях. Я подошел к подножию старых ступеней. Валун над входом был сдвинут, как я его оставил, и под землю проник ломтик лунного света. Я отодвинул камень плечом, и ночной воздух медленно потек внутрь. Затем, как дитя природы, я выполз из холодной земли и направился в бормочущий лес.

4 марта

В последнее время я почти ничего не ем и сплю дни напролет. Но каждое утро, перед болез-

ненным рассветом, я спускаюсь в грот по своей собственной лестнице и, держа перед собой фонарь, через подполье пробираюсь в Дебри вместе с духами костлявых монахов. По тоннелю, пахнущему сырою землей.

В последнее время много думал об одежде и начал осознавать, что слишком долго был закован в запонки для воротников и манжет. С самого рождения я был связан поясами и пуговицами, слишком тесными сюртуками и чересчур накрахмаленными рубашками. Совершенно в них запутался. Злился и топал ногами. Так что теперь, в своих еженощных походах по монашескому тоннелю, я задерживаюсь у подножия каменных ступеней, чтоб перед выходом наружу снять все до последней нитки, меня стеснявшей. Насекомые — единственные очевидцы этого церемониального разоблачения. Земля не находит во мне ничего дурного.

В Дебрях минуты отчаяния отступают. Ужасный скрежет Прошлого и Будущего, которые трутся друг о друга, стихает, успокаивается. В самой почве есть что-то — что-то ревностное, оно заполняет каждый атом до последнего, придавая смелости даже коре деревьев. Оно дает насекомым их микроскопическую силу, птицам

— отвагу, чтобы петь.

Но маленькие Люциферы тоже здесь, с их маленькими трезубцами и ядовитыми усмешками. Один сказал мне, что с удовольствием посмотрел бы на мою кровь. Но я заметил, что скромный венок из плюща держит их на расстоянии. Я в два счета соорудил себе такой и ношу его с гордостью.

Последний час перед рассветом — мое любимое время. Я хожу меж деревьев. Мои босые ноги внемлют, и тиканье часов Природы проникает в меня. Я слышу, как поднимаются штыки. Я слышу, как бутоны готовят канонаду.

Показания второго лакея

Примерно в это время я начал получать записки. Их подсовывали под дверь по ночам, и, когда я вставал, они уже меня ждали.

Первую я получил во вторник.

> В сущности, луна — это дыра в небе. Подумай об этом.

Или что-то в этом роде. Что ж, я думал об этом довольно долго, но так ничего и не надумал.

О первой записке я никому не сказал. Я, в общем-то, надеялся, что она от одной из девушек.

Запоздалая валентинка. Но на следующую ночь я получил еще одну, в которой говорилось что-то вроде:

> Что есть состояние нашего разума, которое мы называем «сознанием», если не постоянное вылезание из тоннеля?

И тут я понял, что это не кто иной, как Его Светлость.

Наверно, я поделился с кем-то из других ребят — скорее всего, в среду, — и он сказал, что этим самым утром получил свой первый клочок бумаги, подсунутый под дверь, как и мой. У него было что-то про сарсапарель. Кажется: «Сарсапарель — правда или миф?»

Выяснилось, что почти все мы их получали. Мэгги Тэйлор утверждает, что один раз открыла дверь и увидела, как он удирает во все лопатки.

Он, должно быть, пользовался тайными ходами, которые проложил к тоннелям. Уж я-то знаю, потому что один из них подходит вплотную к моей комнате и я иногда слышал, как он крадется. Своеобразное ощущение, надо заметить, когда лежишь глубокой ночью в своей постели и слышишь, как кто-то шныряет между стен.

Из дневника Его Светлости

5 марта

Вчера поздно ночью, или сегодня рано утром, был в Дебрях. Меж деревьев лился лунный свет, покрыв меня пятнами, но брести приходилось по колено в тумане. Я прислонился к кусту отдохнуть. Оглядевшись, чтобы решить, куда двинуться дальше, я остановил взгляд на заросшем плющом валуне ярдах в двадцати, выхваченном луной.

Я подошел, разделся, надел венок, думая: «Какой странный валун... нет, вовсе не валун. Слишком прямоугольный и вертикальный для валуна». И уже тогда какой-то инстинкт предостерегал меня. Заговорил мой роковой внутренний голос.

Я подергал плющ, но он обвил камень, как веревка. Не хотел выдавать тайну. Но я настаивал и обнаружил, что камень под ним был гладким и плоским, с идеально обработанными углами. Это был не природный валун, притаившийся в подлеске. Это была могильная плита.

И ужас немедленно заполнил меня. Я заплакал, еще не увидев ни единого слова. Запустил ногти

под мох и принялся сдирать его. Он трещал и скручивался в моих руках. Но я все рвал его, отчаянно рвал, пока не очистил надгробие. И я увидел дату собственного рождения, выбитую на камне.

Я услышал свой голос: «Я мертвец».

Прочел слова:

Наш Возлюбленный Сын
Родился
12 марта 1828 г.
Утонул
1832

И небо навалилось на меня всей тяжестью. Я бегу что есть духу.

Как безумный, пробиваюсь сквозь туман. Потом выбегаю из леса в чистое поле. На бегу я испускаю горестный стон, но он не доходит до моих ушей. Я старик, который пытается убежать от воспоминания, но звук моих шагов выбивает барабанную дробь для его танца. И теперь воспоминание почти настигло меня. Проявляется. Медленно накрывает. Пощады не будет. Беспощадно.

Карета брошена, и мы спешим по туманному песку. Мой отец держит меня за одну руку и тащит вперед так быстро, как только я могу

идти. Через плечо я вижу свою мать, которая бежит следом, подобрав свои юбки. Она держит за руку другого мальчика, примерно того же роста, что и я.

Воспоминание несет меня сквозь туман раннего утра, увлекая в сторону дома.

— Быстрее, чем лошадь скачет, — слышу я. Старик, лицом к лицу со мной, говорит: — Будь поосторожнее с этим приливом, малыш. Он прибывает быстрее, чем лошадь скачет.

И я, наконец, понимаю, от чего мы бежим — мать, отец, я и другой мальчик.

Мы бежим по песку, спотыкаемся и падаем. Но мы упрямо поднимаемся, чтобы упасть снова. И мой детский разум заполнен этой скачущей лошадью, которая теперь возвещает о приливе и ведет в атаку целое море. Я слышу, как ее ужасные копыта грохочут у меня за спиной. Я представляю полные ужаса лошадиные глаза.

Мы все задыхаемся в изнеможении. Я опять спотыкаюсь и падаю на песок. Отец тянет меня вверх со словами:

— Пошли, малыш. Пошли. Еще минута, и мы на месте.

Туман расступается, и вдалеке я вижу крошеч-

ные домики, отступившие от берега. Я снова на ногах и бегу к благословенным домикам, зная, что мы почти добрались. А потом нас внезапно настигает вода. Мы бежим по ней. Она мчится подо мной, несется впереди, а когда я смотрю под ноги, у меня кружится голова.

— Не останавливайся, малыш, — кричит мне отец. Но теперь вода повсюду. Она взобралась по моим ногам и через секунду почти достала мне до пояса. Я слышу крик, оборачиваюсь и вижу, как мама исчезает в море. Когда она поднимается, она вся промокла и перепачкалась, и маленький мальчик больше не держит ее за руку. Она стоит в своем мокром платье и озирается.

— Где мой мальчик? — визжит она. — Где мой мальчик?

И я тону. Я под водой. Она смыла все звуки мира. И я вижу рядом плавающего мальчика. Плавающего мальчика, повернувшегося ко мне спиной, с детскими волосами, которые шевелит течение. Он поворачивается... медленно поворачивается в мою сторону. И когда я, наконец, вижу его лицо, я понимаю, что оно очень похоже на мое. Он погружен в раздумья. Я протягиваю руку, чтобы коснуться его... дотронуться до плавающего мальчика... но вода мутнеет, и прилив опрокиды-

вает нас... и уносит плавающего мальчика.

Дом погружен во тьму. Я хватаю сюртук из гардероба и мчусь вверх по лестнице. Но вниз спускается миссис Пледжер в тапочках, держа перед собой фонарь. Она замечает меня. Испускает ужасающий вопль.

— Ваша голова, Ваша Светлость! — кричит она.

А потом я ношусь взад-вперед по коридорам, отскакивая от стены к стене. День уже в разгаре, а я все охочусь, все ищу ту единственную неуловимую деталь. И оказываюсь у двери на чердак. Заперто. Я молочу по ней обеими руками. Теперь на мои удары вместе с воплями миссис Пледжер на лестничную площадку сбежались слуги. Их внимательные лица озарены свечами и лампами. Каждый хочет взглянуть одним глазком на безумного, лысого, безбородого Герцога.

Они сходятся у подножия лестницы и смотрят, как я скребусь и скребусь в дверь. Пока наконец Клемент — милый Клемент — не появляется среди толпы.

— Дверь заперта, Клемент, — кричу я ему. — Где ключ, старина. Где ключ?

К нему присоединяется миссис Пледжер. Глаза ее смотрят прямо на меня, но украдкой она разговаривает с Клементом. Я обращаю особое

внимание на эти слова.

— Мы послали за доктором Коксом, — гласят они.

И тогда меня захватывает паника, которая заставляет меня ринуться на эти лица, размахивая руками. И все до одного кидаются врассыпную, и горничные с визгом несутся по коридору. Я пробиваюсь к двери спальни, и через минуту я снова здесь, в своей заячьей норе, запертый на все задвижки.

Должно быть, я стоял у двери целых пять минут, пытаясь отдышаться. Шум в доме постепенно улегся, беготни было все меньше, пока, наконец, я не оказался окутан тишиной. Все прекрасные голоса поднесли пальцы к губам.

Я ждал. О, я могу быть терпеливым. Я ждал, пока один из голосов не принялся мне нашептывать. Через какое-то время я почувствовал, как что-то замыкается где-то глубоко внутри меня. Медленно выстраиваются планеты. Я подошел к бюро и осмотрел его сверху донизу.

Мои пальцы начали ощупывать его. Усердные пальцы в неутомимом поиске рычажков и закоулков. Но я был как тот мальчишка с раковиной, который не может извлечь из нее ни звука. Оно просто стояло на месте, безразличное к моим лас-

кам. Я обшарил каждый дюйм, но оно отказалось впускать меня. И тогда мое терпение лопнуло, я снова впал в исступление, пиная его, и воя, и раскачивая его в разные стороны.

И когда я тряс его, мой средний палец обнаружил сзади незнакомую зацепку. Деревянный квадрат, податливый и очень хорошо спрятанный. Я нажал на него и услышал, как внутри стола щелкнула старая пружина. Передо мной выскочил узкий ящик.

Два сложенных листа бумаги дрожали в крохотном ящике. Я протянул руку и вытащил их. Первым было Свидетельство о Крещении. Мое имя едва различимым почерком. Следом имя другого мальчика. Где-то написано «близнецы».

Другое было Свидетельством о Смерти, на того же самого мальчика, заполненное через четыре года после первого. В крайнем правом столбце я прочел: «Утонул, Грэндж-над-Песками»[17].

А потом — молчание. Ужасное молчание. И бездонная, безграничная тоска.

Закончив эту запись, я спущусь по лестнице к тоннелям. Выйду в Дебрях и прислушаюсь, что делать дальше.

---

[17] Примечания: 17
Морской курорт на западе Англии

Показания мистера Уокера

Я-то все больше расставляю сети — у норы или на тропе, — а то и вовсе капканы или силки. Редкой ночью могу прихватить хорька или собаку, ну а старое отцовское ружье для птиц я вообще почти не беру. Слишком много шума, и уж конечно, если с ним поймают, будет только хуже. Но той ночью светила луна, и у меня было хорошее предчувствие, так что я взял эту дурацкую штуковину с собой.

Вот, и я уже собирался отправиться домой и поднимался от озера на холм, с ружьем наперевес. Проходил мимо Дебрей, где раньше мне, бывало, уже везло, и решил наведаться туда.

Не успел я далеко забраться, как слышу — какая-то возня. Такой звук, вроде одышки или стона. Ну, я сразу притормозил и затаился, застыл на месте, чтобы посмотреть, откуда этот шум. Потом совсем рядом раздался каменный скрежет — грохот был адский — не больше чем в тридцати футах. Ну, я и пошевелиться боялся.

И увидел, как он вылезает из-под земли. Выползает. Упитанный такой зверь. Ничего подобного в жизни не видел. Он вылез на четвереньках и медленно развернулся. Подошел к камню побли-

зости, словно собирался погреться на нем. Я со страху места себе не находил.

Так я был перепуган, что, наверно, пошевелился. Сучок хрустнул под ногой. И этот зверь повернулся взглянуть, в чем дело. Он огляделся, сидя верхом на своем камне, и тут я вижу, что его глаза останавливаются на мне. Жизнью клянусь, я думал, это какое-то чудище. Я думал, он сейчас нападет на меня. И я в мгновение ока поднял ружье и спустил курок. Господи, прости и помилуй, но так я и сделал. А его подбросило и швырнуло назад, и перекрутило во все стороны. И он упал спиной в папоротник.

Когда я понял, что он не шевелится, я подошел к нему и перевернул ногой — словно какую-нибудь собаку — и тут же увидел, что это я человека застрелил. Лежит посреди листьев нормальный человек, только лысый и голый и с огромной дыркой в груди, там, куда я выстрелил.

Примечание автора

Проницательные читатели обратят внимание, что в качестве отправной точки для этого романа я использовал жизнь пятого Герцога Портлендского, Уильяма Джона Кавендиш-Бентинк-Скотта. Они заметят также, как стремительно и значительно разошлись жизни реального и вымышленного герцогов и какие откровенные вольности были мной допущены.

Я глубоко признателен следующим людям, которые, так или иначе, помогли мне превратить горстку идей в нечто вроде книги...

Кевину Хендли, который впервые обратил мое внимание на историю реального герцога и лично сводил меня на экскурсию по его поместью; его родителям, Тому и Уин Хендли, которые с сердечным радушием приняли меня в своем доме, пока я проводил изыскания, а также его сестре Диане, за то, что повсюду меня возила.

Газете «Уорксоп Трэйдер», Ирис Экстон, Кэролин Дж. Белл, Дорин Смит, Джеку Эдсону, Бренде Пенни и Маргарет Картер.

Дэвиду Дж. Брэдбери, местному историку и

автору нескольких публикаций по Уэлбекскому Аббатству.

Краеведческие отделения библиотек в Уорксо-пе и Мансфилде (где выставлена карта Джона Сан-дерсона); Мисс Э. Аллен, Хантеровскому Музею, Лондон; Ричарду Сабину и Бену Спенсеру, Музей Естествознания; Профессору М. Х. Кауфману, Кафедра Анатомии, Эдинбургский Университет и Веллкомовский Институт.

Библиотеке Университета Ноттингема за их любезное разрешение воспроизвести рецепт от «ревматизма» и рекламу «Сока говядины».

Джону Меллену, Тони и Мэри Лэйнгам, Уэнди Джилли, Иэну Джексону и Адаму Кэмпбеллу за помощь с некоторыми особенно загадочными подробностями.

Роуз Тремэйн за поддержку, которую я высоко ценю.

И как всегда, моему другу и наставнику Питеру Киддлу, который пятнадцать лет назад отправил меня в погоню за зеленым человечком.

В особенности же хочу поблагодарить Кэт Лэнг, за то, что предоставила мне время и место, чтобы погрузиться в написание этой книги.